

Военные приключения (Вече)

Валерий Поволяев

Гильза с личной запиской

«ВЕЧЕ»

2020

Поволяев В. Д.

Гильза с личной запиской / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ»,
2020 — (Военные приключения (Вече))

ISBN 978-5-4484-8156-7

Ведёт свой беззащитный биплан в фашистский тыл лётчик Мамкин; бывший капитан пограничной службы Микулин и его друзья встают на пути тех, кто посчитал себя новыми хозяевами жизни; сержант Боганцов и его боевые товарищи заслоняют путь каравану с оружием, идущему к афганским душманам... Разные времена, разные люди... Что же их объединяет? Может быть, то, что слова «Есть такая профессия – Родину защищать» никогда не были для них пустыми? Новые произведения признанного мастера отечественной военно-приключенческой литературы, лауреата Государственной премии Российской Федерации им. Г.К. Жукова, литературной премии «Во славу Отечества» и многих других.

ISBN 978-5-4484-8156-7

© Поволяев В. Д., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Мамкины дети	6
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Валерий Дмитриевич Поголяев

Гильза с личной запиской

© Поголяев В.Д., 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Мамкины дети

*Светлой памяти летчика гражданской авиации СССР
Александра Петровича МАМКИНА*

На развилке двух лесных троп стояла самодельная пушка. Отрядные умельцы сняли ее с нашего подбитого танка Т-26, в боку у которого зияла огромная дыра – след двойного, а может, тройного попадания немецких снарядов. В дыру эту легко залезал и вылезал назад партизанский любимец тринадцатилетний Витька Климович – в общем, большая была дыра.

Внутри танка все было перемешано, железо спеклось с находившимися в нем людьми, шансов выжить не было ни у экипажа, ни у самой машины, а вот пушка на удивление всем осталась цела. На ней – ни царапины, только пороховая гарь.

Отрядный умелец-кузнец Ося Ковальчук снял пушку с танка и прикрепил ее к колесам от сенокосилки. Получилась вполне приличная артиллерийская установка, которая иногда принимала участие в боях и, случалось, выручала, когда в лесу появлялись немцы и воздух начинал разламываться от грохота стрельбы и взрывов гранат, партизанам делалось трудно. Но немцам ни разу не удалось зажать отряд и разгромить его. Ствол у пушки даже поблескивал краской, и орудие имело вполне товарный вид.

Снарядов было, конечно, мало, но все-таки они были: разведчики нашли на заброшенной территории одной из наших воинских частей артиллерийские склады, вырытые в земле, на складах отыскивались танковые снаряды, которым пропасть, естественно, не дали. Десяток снарядов, уложенных в корзины и заботливо укутанных рогожей, чтобы ни снег, ни дождь не промочили, находились рядом с пушкой.

И расчет у пушки был вполне достойный – два человека, которые и грамоту артиллерийскую знали, и в окошко какой-нибудь отдельно стоящей избы могли попасть метким выстрелом, и сшибить с сосны чужого наблюдателя тоже умели – в общем, люди эти были смекалистые, много чего умели.

На календаре стоял весенний месяц апрель, но весна в партизанском лесу затягивалась, она здесь вообще не очень-то чувствовалась. Вот на равнине, на полях – там совсем другое дело, любой заснеженный ухаб мгновенно облезает, делается лысым, стоит только пригреть солнышку...

В лесу полно глухих мест, особенно где растут сосны и ели, – снег здесь может держаться до мая, а в глубоких лесных урманах, да в каменных ломинах, оставшихся еще от ледникового периода, темный пористый снег может лежать до середины июня.

Вездесущий Витька Климович приносил из урманов в лагерь такой снег, когда было уже жарко, температура залезала уже за двадцать градусов тепла, от разжиревших комаров вообще не было спасения, и швырял мелкими комками за шиворот партизанам.

Те ругались, но были довольны – кусочек холода в жаркое время еще никогда никому не вредил, а Витька, который даже в комсомол еще не успел вступить (хотя в партизанах в комсомольскую организацию приняли одного тринадцатилетнего паренька, к сожалению, погибшего потом под Полоцком; готовы были принять и Витьку, но этого момента надо было дожидаться – собраться должны были все, а это дело непростое, поскольку многие партизаны находились в рейдах), хохотал заразительно над взрослыми дядьками, в уголках глаз у него проступали крохотные, почти невидимые слезки.

А в остальном Витька был натуральным партизаном, ничем не отличался от сорокалетних бородачей, свою лямку тянул с такой же нагрузкой, как и все, и в боях участвовал наравне со взрослыми.

Смешлив был только уж очень, рот всегда растянут в улыбке от уха до уха, редкие зубы сияли белью, как у бурундука, вволю наевшегося орехов, глаза тоже сияли, светились по-детски восторженно.

А вообще-то хоть и было Климовичу лет немного, а война уже хорошенько помяла его. Дай бог, чтобы он сохранил свою детскость и смешливость до той минуты, когда на земле его родной перестанут звучать выстрелы и люди наконец-то вздохнут свободно, без опасения, что на вздох может засвистеть немецкая пуля. Прямо в спину... Сохраняй тебя Господь и дальше, Витька!

В семи километрах от лагеря, в сизой чащобе, нашлась длинная ровная поляна, которую партизаны основательно прощупали, примяли сапогами, выдрали старые гнилые пни и определили под аэродром, поскольку с Большой земли поступила такая команда, и Витька обязательно вызывался туда, когда надобно было подежурить на мягкой посадочной полосе, зажечь сигнальные костры или что-то подправить в аэродромной обстановке.

Немцы тоже пасли лесной аэродром и готовы были стереть его с карты, завалить срубленными осколками бомб деревьями, но ничего поделатать не могли – аэродром все время восстанавливался из пепла.

А помогал он партизанам здорово, иногда вообще был палочкой-выручалочкой. Только одних раненых, которых вылечить, выходить в лесу не представлялось никакой возможности, спас не менее трех десятков человек.

В апреле месяце самолет приходил на лесной аэродром каждый день – старый, со штопаными крыльями, но очень живучий «кукурузник». Так в ту пору называли четырехкрылый фанерный самолет с плоскостями, обтянутыми перкалем – прочной, пропитанной краской тканью. Прозвище это появилось еще до войны и привилось надолго.

Кукурузник еще величали «прялкой», «сенокосилкой», «губной гармошкой», «дырявым роyleм», «ревущими граблями» – по-разному, словом, кто как мог, тот так и величал. Это бы самый безобидный самолет Великой Отечественной войны. Все вооружение кукурузника состояло лишь из пистолета, висевшего на боку у летчика.

Пилот, летавший каждый день в партизанский отряд, был один и тот же – проворный, всегда улыбающийся, всегда готовый помочь пареню в военной форме по фамилии Мамкин. Звали его Сашей. Саша Мамкин, в общем.

Витька Климович все удивлялся – почему у пилота в полевых петлицах нет ни одного командирского кубаря, – а сейчас фронтовой народ и вовсе перешел на погоны, – так у Мамкина на плечах и погон не было. Мамкин только посмеивался, кашлял в кулак, но Витьке на его непростой вопрос не отвечал.

Когда тот начинал приставать, пилот поправлял на парнишке просторный пиджачишко, выданный на вырост, стряхивал с его плеча какую-нибудь невидимую соринку и произносил шепотом:

- Военная тайна, понял?
- Понял, – так же шепотом отвечал Витька.

Разгадка была проста, как появление в праздничные дни на партизанских столах сладких домашних пряников, – такие пряники во всех окрестных лесах могла печь только тетка Авдотья, повариха их отряда, больше никто. Причина того, почему на плечах у Саши Мамкина не было погон, крылась в том, что на фронте воевал полк ГВФ – Гражданского воздушного флота, и как люди штатские, ценящие свободу, летчики этого полка военных знаков отличия не носили. Хотя фуражки и шапки свои украшали крабами и птичками – атрибутами, отличающими лихого летчика, аса, от скромного наземного работяги-технаря или командира из БАО – батальона аэродромного обслуживания.

Витьке казалось, – и, наверное, это и на деле было так, – что когда работает партизанский аэродром и появляется кукурузник, приведенный с Большой земли веселым летчиком Мамкиным, немцы никогда не смогут сломать их; в крайнем случае, если совсем будет худо, Климович улетит с Сашей Мамкиным за линию фронта, к своим. Кукурузник – машина выносливая, народу забрать может много.

Аэродром, на котором базировались эти славные трещотки-кукурузники, располагался в Смоленской области, откуда Саша и прилетал. Причина того, что он каждый день появлялся в партизанском отряде, была объяснима очень легко, даже более, чем легко, хотя и имела трагический цвет. Месяц назад разведчики принесли в отряд сведения, что обычный детский дом, находившийся под Полоцком, немцы ни с того ни с сего поставили на фронтовое довольствие и начали усиленно подкармливать ребятишек. Причем не просто усиленно, а дело довели до того, что в рацион питания включили даже шоколад: то-то детишкам было радостно – каждый день калорийные шоколадки кушать...

Но радости, честно говоря, было мало, такая забота очень обеспокоила партизанского командира Сафьяныча – бородатого, черноглазого, с крепкими руками, – Сафьяныч запросто рвал лошадиные подковы.

Умением своим он, конечно, особо не хвастался, но при случае свой фокус-покус мог показать и удивить им какого-нибудь посланца из Москвы. Фамилия его была Сафьянов, в прошлом он считался очень неплохим учителем физкультуры, сейчас так же неплохо командовал отрядом. От фамилии пошло и прозвище, которым языкастые партизаны пользовались в речи чаще, чем фамилией командира.

Редкостная немецкая забота не выходила из головы у Сафьяныча, и он решил поподробнее узнать, что же все-таки стоит за ней? Не может быть, чтобы судьба голодных детишек-сирот так беспокоила немецких интендантов и штабистов.

Детишек в доме под Полоцком было ни много ни мало сто пятьдесят душ. Причем возраста самого разного: от десяти лет до двенадцати. Несколько человек из детдомовских старожилы были постарше.

Сафьяныч уже сталкивался с немецкой бережливостью, с заботой и умением сберечь съедобный корешок на завтрак: мороз по коже бежит от такой заботы.

В Тростенецком лагере, например (после войны выяснилось, что в этом «сельском» лагере было уничтожено двести тысяч человек, по адской жестокости своей он находился на четвертом месте после Освенцима, Майданека и Трешлинка), мертвых на обычных телегах вывозили в поле и закапывали в мелких ямах на капустных и картофельных полях... Очень хорошо потом капуста росла, удивляла фрицев, они даже рты распахивали настежь: кочаны урождались, как гигантские тыквы – настоящие дирижабли, воздушные шары, на которых до войны в Белоруссии катали зевак, а еще лучше росла картошка – жирная, рассыпчатая. Настоящая бульба, которую немцы очень любили.

Сам факт, что они ели не бульбу, а людей, их совсем не тревожил, на это им было просто наплевать...

Через некоторое время Сафьяныч узнал, что же стоит за трогательной заботой гитлеровцев о детдомовских питомцах. Все, кто находился в детдоме, были тщательно обследованы врачами, простуканы, прослушаны, изучены со всех сторон, сто пятьдесят ребят были признаны абсолютно здоровыми, имеющими хорошую кровь.

Те, что вызывали хотя бы малые сомнения, были отсеяны и пущены в расход – на удобрения, которых капустным и картофельным полям требовалось довольно много. Отобранных же, одобренных медиками, решили основательно подкормить и пустить на кровь.

– В каком смысле «пустить на кровь»? – не понял Сафьяныч, поднял глаза на начальника разведки, добывшего со своими ребятами эти сведения. – На колбасу, что ли?

– В смысле самом прямом. Немцы выкачают у ребятишек кровь для своих раненых, всю без остатка, – ни капли не оставят в жилах. А тела вывезут на капустные поля. Будут потом копченые сардельки с тушеной капустой лопать...

– И когда это произойдет? – Сафьяныч нахмурился.

– Думаю, недели через две... Примерно так.

– Примерно или точно?

– У фрицев что примерно, что точно – один хрен, товарищ командир.

Сафьяныч зачем-то посмотрел на часы, словно бы они у него показывали не только время суток, но и дни и месяцы, проговорил с угрюмой озабоченностью:

– Детишек надо спасать, пока они дармового шоколада не объелись... И чем раньше мы это сделаем – тем лучше.

Через двое суток половина отряда ушла в рейд под Полоцк к детдому. Для двухлетних огольцов на всякий случай взяли полтора десятка мешков с пришитыми к ним лямками, – огольцы даже ста метров обратной дороги не выдержат (тьфу-тьфу-тьфу, главное – вытащить их из помещения, не то ведь немцы упрутся, не захотят их отдать добровольно, начнут огрызаться пулеметами, а пуля ведь не дура...), нести их придется на себе.

Вопреки ожиданиям охрана детского дома огрызалась несильно, уговаривать ее долго не пришлось, ребят вызволили всех до единого, все сто пятьдесят душ, отступили организованно, – жаль только, потеряли двух человек, – в километре от детдома ребят распределили по саням, погрузили погибших и отбыли к себе домой, в партизанскую зону.

Вскоре за детьми прибыл в первый свой рейс пилот гражданской авиации Саша Мамкин.

Хоть и считал Витька Климович, что Мамкин может увезти много народа, а много народа кукурузник не брал, не мог просто – вмещалось в эту четырехкрылую этажерку примерно десять человек, максимум двенадцать, и все... Взлетал кукурузник с трудом, но ни хвостом, ни винтом за макушки деревьев не зацепил ни разу.

– Молодец, Саня, – похвалил его начальник разведки после двух непростых рейсов, – настоящий мастер... Только кое-чего тебе не хватает, не считаешь?

– Чего именно? – спросил Мамкин и неожиданно засмеялся. Невесть чему засмеялся... И вообще улыбка у него была от уха до уха, а на обоих концах улыбки обозначалось по трогательной мальчишеской ямочке.

– Да пулемета, вот чего, – грубым простуженным голосом проговорил начальник разведки. Голос у него действительно был... ну, как у Деда Мороза после хорошей попойки. – Чем будешь отбиваться, если на тебя в воздухе фриц на «мессере» налетит? Пальцем?

– Пальцем, – смеясь, подтвердил Мамкин. – Есть еще, правда, пистолет ТТ, но...

– Это несерьезно!

– А если я попаду фрицу из пистолета в глаз?

– В небе, да на скорости такого не бывает.

– Тогда только пальцем, – оборвав смех, сказал Мамкин, по лицу у него пробежала и тут же исчезла тень, в углах глаз образовались морщины. Впрочем, Мамкина они нисколько не старили, он вообще находился в возрасте, когда человек не то, чтобы не знает, а даже не догадывается, что такое старость.

Впрочем, тень, проскользившая по лицу пилота, подсказала начальнику разведки многое, он понял, что Мамкин каждую неделю раза два, а может, и три смотрит смерти прямо в глаза, сталкивается в облаках с «мессерами» и только выдержка, умение маневрировать, да маленькая скорость – недостаток, превращающийся в достоинство, одаривают его преимуществом, не дают верткому и быстрому, хорошо вооруженному «мессеру» завалить кукурузник.

Более того, Мамкин знал случай, когда летчик на таком же музыкальном инструменте, как и у него, сбил «мессершмитта». Собственно, даже не сбил, а на малой высоте крутил виражи над землей, спасаясь от пулеметных очередей. Немец был азартный, молодой, характер

имел жеребцовый, привык дырявить все и вся из пулемета, сжигать прямо в небе – победитель, в общем, – так этот победитель в крик матерился в воздухе, костерил русского тихохода, увлекся, а тихоход взял, да и пошел на одинокое дерево, стоявшее посреди поля.

Немец, гогоча удовлетворенно, устремился за ним: понял, что сейчас он его собьет.

– Давай, давай, рус, сверни голову этой березе, – прокричал он что было силы, – давай, руссише швайн!

В последний момент русский отвернул от дерева в сторону и ловко обогнул его – чуть ли не сквозь ветки проскочил и растаял в воздухе, а разогнавшийся немец отвернуть не успел и всадились в «березу», которая на деле была не березой, а прочным развесистым дубом. Так и сгорел фриц, висая на широко размахнувшихся в воздухе прочных ветках.

Спрашивается, кто из этих двух летчиков «швайн», немец или русский, а? Не помогли немцу ни пушки, ни пулеметы, ни мощный мотор. Только сорванный с головы шлемофон с размотанным на нитки радиопроводом вылетел наружу через разбитый фонарь...

– Смотри, ас, – сказал Мамкину начальник разведки, – если понадобится тебе пулемет – живо организуем.

– Не надо. – Мамкин отрицательно покачал головой, хотя по лицу его было видно, что от пулемета он не отказался бы, но... Словом, не положено теляти за завтраком вместо молочного пошла питаться жареной волчатиной, политой чесночным соусом.

Впрочем, если бы Мамкину вообще предложили перейти в истребители, он, наверное, не отказался бы – слишком уж надоело чувствовать себя в воздухе беззащитным. Истребители же свои пулеметы имеют на борту, заводские, желание переучиться на летчика-истребителя также отчетливо проступало на лице Мамкина, внезапно растерявшем свою светлую безмятежность, даже общительность, – а с новым выражением на лице Мамкин уже не был Мамкиным. Это был другой человек

– Сделаем это в знак благодарности, что не бросаешь наш отряд, – запоздало добавил начальник разведки, поправил маузер, висящий у него на боку и, увидев одного из своих подчиненных – худенького, похожего на мальчишку мужичонку с жидкими волосами наземного цвета, – фамилия его была Меняйлик, это Мамкин уже знал, – призывно махнул ему рукой.

Хоть и было в лесу полно снега, – он лишь кое-где начал проседать, а уже пахло весенней сыростью, еще чем-то, даже цветами, дух этот живительный появляется только весной, что-то находящееся под снегом, в земле, рождает его, этот дух пробуждения, надежды, жизни, проснувшихся кореньев, которые из-под мерзлого покрова по невидимым порам посылают вверх сигналы, что пора вставать, думать о предстоящем лете, о продолжении рода, о том, какое семя упадет в богатую лесную землю осенью.

В предчувствии весны и птицы стали чаще попадаться на глаза, – до этого они прятались в дремучей глухомани, в замороженных пространствах, пережидали там холодную пору, заодно спасались и от немецких бомб, – самолеты с крестами на боку регулярно появлялись над партизанскими угодьями, накрывали огненным ковром все приметное, что попадалось им на глаза, крушили лес, стараясь выкорчевать «народных мстителей», но у партизан на случай бомбежек имелись свои схоронки, отправить их на тот свет можно было только прямым попаданием десятка бомб, а прямое попадание в схоронку с высоты – явление такое же редкое, как женитьба австралийского кенгуру на африканской макаке в белорусском лесу среди снегов и елей.

Весна, проснувшийся лес, зелень, споро потянувшаяся вверх в оголившихся проталинах, молодая крапива – первое съедобное растение, проклюнувшееся среди холодных кустов, сулящее пару дополнительных блюд в скудном партизанском меню; за крапивой выползет дикий лук, за луком щавель, за щавелем чеснок, такой же вкусный и полезный и мало чем

отличающийся от черемши, потом расцветут разные будылки, вкусом своим напоминающие молодую морковь, за ними ягоды, за ягодами грибы, и пошло, и пошло...

По грибы женщины из хозкоманды отряда выходили специальной бригадой, набирали большое количество боровиков, сушили на железных противнях, в результате супы из сушеных грибов, да картошка жареная с мочениками – отмоченными белыми не переводились на партизанском столе до середины февраля.

Март очень часто выпадал голодным, таким голодным, что в этот месяц хоть коренья в лесу выкапывай, но, кроме горьких сосновых веревок, узловатых и прочных, как железные канаты, ничего не выкопаешь.

Одна надежда в марте, да и в начале апреля тоже – ранцы фрицев, в которых гансы и иоакимы прятали свою еду, да воинские склады, на которых среди неструганых полок зимовали картонные и фанерные ящики с ногастыми и клювастыми орлами, ловко нанесенными по трафарету на бока, с надписями, по которым говяжью тушенку можно было отличить от супа из бычьих хвостов, а вяленую треску от копченой курятины и лягушек, специально заброшенных для гурманов из Франции.

Иногда вырочала Большая земля, подкидывала кое-что, самолеты сбрасывали продукты – мешки с сахаром и крупой, муку и макароны. Мясо закидывали крупными порциями – коровьими тушами.

Если питаться экономно, то на одной туше можно было продержаться неделю, но чаще всего этого не было. Отряд-то большой, каждому рту надо было отрезать хотя бы маленький кусочек мяса, и тетка Авдотья поступала по справедливости – говядиной лакомился не только Сафьяныч, а все, вплоть до хромого шорника по фамилии Адамович, который на задания вообще не ходил.

Да и не нужен был героизм Адамовича никому, даже Сафьянычу, который, как командир, любил произносить победные речи и отмечать отличившихся бойцов, главная задача шорника состояла в том, чтобы конская сбруя всегда находилась в исправности, чтобы в любую минуту можно было нахлобучить хомут на лошадиную шею и, загрузив подводу партизанским людом, скакать в нужное место.

Первым рейсом летчик Мамкин увез на Большую землю малышей – их погрузили в кукурузник в тех же самых мешках с притороченными к ним веревками, конструкцию ломать не стали... Малыши, понимая, что происходит нечто важное, от чего зависит их жизнь, молчали. Только глазенки блестели осмысленно и горько – несмотря на малый возраст, ребяташки эти успели хватить столько, что не всякому взрослому выпадает на его долю. В первый рейс Мамкин всю малышню и вывез. Беспокоился только – перенесут ли они взлет и посадку? И еще – вдруг «мессершмитты» в воздухе попадутся и от них придется уходить?

Кукурузник тогда такие прыжки и кульбиты будет совершать, да скакать по-козлиному – не приведи господь, во время какого-нибудь крутого разворота или петли зубы запросто могут вылететь изо рта. Конечно, это преувеличение. Но преувеличение не очень великое, – во всяком случае, когда, уйдя от «мессера», Мамкин приземлялся на аэродроме, у него в ушах стоял нехороший звон, а ноги словно бы свело судорогой.

Хорошо, кукурузник – самолет маленький, в случае пикирования с высоты любого двухлетнего страдальца, находящегося внутри фюзеляжа, далеко не унесет, не забросит в хвост или под мотор, – не покалечится он... Хотя оцарапаться, конечно, может. Да и то, пожалуй, несильно.

Первый рейс закончился идеально. Саша Мамкин был доволен: взлет хотя и был крутым, свечкой вверх – иначе не получалось обойти высокие деревья, Мамкин обязательно задевал за них лыжами, – прошел прекрасно, был также нырок в глубокую воздушную яму, но и он закончился благополучно, ни один из двухлетних пассажиров не подал голоса, даже писка,

и того не было; Мамкин в полете все прислушивался – не раздастся ли из фюзеляжа какой-нибудь испуганный крик? Нет, не раздался.

Приземление же было плавным, ровным, словно Мамкин садился на пуховую перину. Но садился он на утопанный, вручную приглаженный катком снег.

На аэродроме, разбитом на границе Белоруссии и Смоленской области, его встретил командир эскадрильи Игнатенко, измученный бессонницей (он совершил неудачную посадку и повредил себе ногу, по ночам его мучили боли, не давали спать, – то ли нерв какой, очень чувствительный, защемил себе комэск, то ли что-то еще, может быть, имел место закрытый перелом, но Игнатенко в госпиталь не пошел, остался в части, на подножном лечении), нашел в себе силы улыбнуться Мамкину.

– Саш, пляши, – сказал он.

– С какой радости?

– Радость есть. Я бы и сам сплясал, да не могу. – Игнатенко поморщился, уголки рта у него болезненно опустились.

– Давай, давай, Ефремыч, раскалывайся.

И Ефремыч раскололся, не расколется было нельзя.

– Тебя орденом Красного Знамени наградили, – торжественным тоном произнес он.

Мамкин не выдержал, сбавил несколько коленцев, рот у него растянулся от уха до уха, – похвалил самого себя:

– Ай, да Мамкин, ай, да молодец!

Решив, что сплясал он мало, сплясать надо больше, Саша отколол еще несколько лихих, популярных в его деревне коленцев, хлопая себя ладонями по ногам, доставая даже до пяток, повторил восторженно, с заводными радостными нотками, возникшими в его звонком голосе:

– Ай да Мамкин, ай да молодец! Ну и молодец! Вот у меня дома этому делу удивятся, а!

– А чего, действительно молодец! – похвалил его командир, улыбнулся скупно – наверное, вспомнил собственную молодость, когда сам был таким же моторным, губастым, шумным, заводным, как и Санька Мамкин, ничего у него тогда не болело, и плясал он точно так же, очень охотно, лихо выворачивая ноги и громко, почти не нагибаясь, хлопая по пяткам ладонью. Покачал головой одобрительно, затем, разом согнав с обветренных губ улыбку, сказал: – Завтра снова полетишь в отряд, к партизанам... Детей велено вывезти как можно скорее.

– В отряд, так в отряд, нам, татарам, все равно, – покладисто проговорил Мамкин, стянул с головы брезентовый шлемофон, похлопал им по колену.

– И еще, – добавил Игнатенко посуровевшим тоном, – зайди к дежурному, возьми письмо. Сегодня почта была.

Вот день какой роскошный, удачный выдался, – просто редкостный, почаще бы такие дни выпадали!

Из кукурузника, из фанерных закоулков его, пахнущих бензином и масляной краской, выскребались детишки, тем, кто не мог сам себя достать из самолетной глубины, подсобляли взрослые, вытаскивали на свет Божий, отряхивали и ставили в строй... Затем строй этот детский повели в столовую – там ребятам приготовили летчицкое угощение – трофейный шоколад в тарелках и компот.

Не знали взрослые, что шоколада этого ребята наелись под завязку – в детском доме так плотно напихали его в себя, что даже в старости будут помнить его вкус и морщиться нехорошо, кривить губы с мыслью: а не засунуть ли палец себе в рот, чтобы вырвало?

Письмо пришло от учительницы младших классов Лены Воробьевой, – вернее, не Лены, а Елены Сергеевны, обаятельной городской особы из Ульяновска, куда Мамкин летал прошедшей осенью получать новый кукурузник.

В полк гражданской авиации пришла разрядка на четыре новые машины, и четыре пилота полка, – Игнатенко, Мамкин и еще двое человек – перегнали их по воздушным закоулкам, «задами и огородами», чтобы не напороться на немцев, в свою часть.

Во всех ульяновских кинотеатрах шел фильм, который народ посещал по нескольку раз в месяц, люди готовы были смотреть это славное кино еще и еще, – «Битва под Москвой». На сеансах зрители растроганно хлюпали носами, вытирали лица платками и рукавами пальто, радовались и мечтали о том светлом, заставляющем замирать сердце времени, когда победа будет одержана не только под Москвой, но и на всех фронтах, по всей линии от Мурманска и Печенги до Туапсе и горных прикубанских сел.

У летчиков выдался один свободный вечер, и они пошли в кинотеатр, расположенный недалеко от городского сада.

Дворец киноискусств располагался в старом деревянном здании, стулья в зале были скрипучие, сам зал хоть и просторный, но душный, – впрочем, люди духоты не замечали, вздыхали счастливо и одновременно тревожно, отжимали мокрые соленые платки прямо на пол, под ноги и вскрикивали едва ли не обреченно, испуганно, когда видели гитлеровские танки, крушившие гусеницами детские игрушки, сугробы, из которых торчали мертвые руки со скрюченными пальцами и обгорелые трубы крестьянских хат.

Мамкин тоже было захлюпал носом, но вовремя остановил себя, взгляделся в сумрак зала, по которому бегали светлые тени, вспыхивали и гасли блики, грохотали тяжелые траки и казалось, что ветер сражения заставляет людей опасно пригибать головы.

Позади Мамкина сидела темноглазая, с тонким смуглым лицом девушка, и летчик беспокоился, не загораживает ли он своей головой экран, видно ли, как наши сибиряки в овчинных полушубках ломают ребра немцам? Девушка ловила взгляд Мамкина и молча улыбалась ему.

Летчик же всякий раз смущенно произносил: «Извините!» – и старался теснее вдавиться крестцом в стул, чтобы его лохматая голова не загораживала этой волжской красавице экран...

Когда кончился фильм и в зале зажегся тусклый, какой-то немощный свет, народ в рядах поднялся как по команде, дружно и в едином порыве захлопал ладонями.

Люди аплодировали не только толковым киношникам, снявшим этот фильм, а в первую очередь солдатам, так умело и храбро остановившим ненавистного врага.

Девушка аплодировала тоже. Мамкин переместился чуть в сторону, смещаясь на бок, чтобы было видно лицо девушки, – скопил взгляд и довольно улыбнулся: разместился он удачно. Аплодисменты звучали минуты три, не менее, потом стихли, и народ потянулся к выходу.

На улице уже было темно, редкие фонари светили так же немощно, как и лампочки в кинозале – вполнакала.

Девушке в такой темноте трудно будет добираться до дома – ноги ведь сломает в первой же канаве. Летчики, с которыми Мамкин пришел в кино, поняли его интерес к темноволосой девушке и ждать не стали – посчитали, что только мешать будут. Наверное, с их точки зрения это было верное решение.

Девушка, шедшая впереди Мамкина, метрах в десяти, придержала шаг, тревожно взгляделась в гнетущий сумрак улицы.

– Как же вы домой пойдете? – спросил Мамкин и машинально поправил на себе борта шинели.

– Не знаю, – ответила девушка легкомысленно, – как-нибудь.

– А если встретятся хулиганы?

– Совсем не обязательно. Хулиганов может и не быть.

– Обычно раз на раз не приходится, – в голос Мамкина натекли озабоченные нотки, – рисковать не надо... Пойдемте, я вас провожу.

Девушка облегченно вздохнула, но тем не менее протестующее вскинула голову и отступила на шаг в сторону.

– А это удобно?

– Вполне. Более того, мне будет приятно – я сделаю для вас доброе дело. И главное – буду спокоен. Ведь хулиганов ныне в любом городе, как сверчков на печке. А у меня оружие с собой. – Он хлопнул по боку, где на ремне висел верный убойный ТТ. – Ежели что, отстреляемся.

– У нас стрельба иногда действительно бывает... Ночью, – речь у девушки была хорошо поставлена, будто у актрисы, но актрисой она явно не была – актрисы приезжали к ним на фронт, посещали и их полк, выступали с веселыми программами, ужинали вместе с летчиками, каждой из них выделяли по шкалику спирта вместо гонорара, – в общем, весело было, но это были совсем другие люди...

– Хотите, я угадаю, кто вы по профессии? – предложил он.

– Попробуйте, – живо отозвалась девушка.

– Вы – учительница.

Девушка от неожиданности остановилась.

– Откуда вы узнали?

– Догадался. К этому есть еще небольшое добавление. Вы преподаете в младших классах.

– Вы колдун, – изумленно проговорила девушка, – настоящий колдун из сказки Бажова.

Улица была пустынна, ни одного человека из тех, кто волной выплеснулся из кинотеатра, не было, половина окон в домах уже не светилась – завтра предстоял рабочий день, и он обещал быть трудным.

– Нет, я не колдун. – Мамкин по-школярски энергично мотнул головой, подивился некой легкости, возникшей в нем. – И к популярным уральским сказкам не имею никакого отношения. Хотя колдуном у себя в полку мы иногда называем начальника метеослужбы... А я... я – обычный летчик. Даже не военный летчик, а гражданский.

– Да, у вас нет петлиц... Но на шапке – летная кокарда.

– Это не кокарда, а капуста.

– Что-что? Не поняла...

– Мы эти кокарды называем капустой. Есть еще птички, но их крепят только на фуражки.

– Интересно как... Капуста... птичка. Огород какой-то, охраняемый пернатыми.

– И последнее, – сказал Мамкин, подставил девушке локоть, и та ухватилась за него. – Вас зовут Леной. Правильно?

Над крышами домов пронесся ветер, прилетевший с Волги, громыхнул куском оторванной от деревянного основания кровли.

– В паспорте действительно стоит Елена, а домашние величают Лелей... Раз уж вы такой угадыватель, то, может быть, и фамилию мою назовете, а заодно и номер школы, в которой я работаю?

– Нет, этого я не одолею, – Мамкин засмеялся. Помотал головой, – ни фамилии вашей, ни номера школы...

– А я думала, вы действительно волшебник.

– Далеко и далеко не он. И вряд ли когда волшебником буду. Возраст уже не тот.

– А возраст тут при чем?

– Обычно волшебников воспитывают с детства. Даже раньше – с пеленок, а может быть, и в утробе матери, – убежденно проговорил Мамкин, – а я свой пеленочный возраст даже не помню. И вообще такого у меня не было.

– Это почему же?

– Я из деревни. А в деревнях такого понятия, как пеленки, не существует... И не существовало, по-моему, никогда.

Мамкин замолчал. То ли село свое вспомнил, то ли колхоз, гордостью которого был американский колесный трактор «фордзон» (кстати, перед самой войной колхоз получил еще два трактора – так же колесные, отечественные, марки ХТЗ – Харьковского завода, и они были нисколько не хуже американца), то ли дом родной, где провел лучшее время в своей жизни. С играми в лапту на зеленых весенних лужайках, с пасхальным битием крашенных яиц «Кто кого зарует» и карасевой рыбалкой – караси в их пруду водились такие вкусные, что приятель Мамкина по имени Никиток однажды чуть язык свой не проглотил – язык вместе с жареным карасем, сдобренным сметаной, сам уполз в горло.

Ветер усилился – пробивал теперь насквозь не только скромное женское пальтецо, но и шинель, забирался в рукава, кололся, щипал кожу, – погода в этих местах менялась стремительно, – значит, где-то неподалеку пролегал горный массив или на климат так сильно влияла великая река Волга... Так недалеко и до того момента, когда ветер начнет сносить крыши.

Мамкин вскинулся, словно бы пришел в себя, покосился на спутницу, которая продолжала молчать, словно бы боялась нарушить мысли спутника, и Мамкин был благодарен ей за это; когда-то в детстве он очень боялся девочек, – собственно, боялся не только в силу своего характера, боялись все пацаны... Наверное потому, что не знали, как себя вести с ними, что им говорить, с какой стороны подступаться...

Осмелел Мамкин только в пору учебы в летной школе. Один раз в месяц к ним на курсантские вечера приходили девочки из педагогического техникума, и преподавательница танцев учила будущих летчиков не робеть, вести себя раскованно, если рядом оказывалась представительница прекрасного пола.

Дело это оказалось сложным, гораздо легче было научиться летать, но ничего, не боги ведь горшки обжигают, в конце концов и эта наука была освоена, в результате учлет Мамкин перестал считать, что все девушки в Советском Союзе были рождены на другой планете и тайком переправлены на Землю.

– О чем вы думаете? – неожиданно спросила его спутница.

– Да-а, – протянул Мамкин едва слышно, – ни о чем, собственно. Когда не о чем говорить – говорят о погоде, а я, как видите, о погоде не говорю.

Они прошли еще одну улицу, такую же мрачную и слабо освещенную, как и предыдущую, и едва собрались свернуть в старый, серпом изогнутый проулок, в конце которого находился дом, где жила учительница младших классов Елена Воробьева, как из проходного двора слева выплыли трое в одинаковых телогрейках и черных шапках, украшенных никелированными молоточками – похоже, железнодорожники...

А может, и нет.

Выплыв на простор ночной улицы, они мгновенно окружили Мамкина с Леной и многозначительно похмыкали в кулаки.

– Чем, мужик, у тебя заряжен наган? – спросил один из них, плотный, с крупными мозолистыми руками и раздвоенной нижней губой, похожий на огромного зайца, наряженного в рабочую одежду. Итого губ у него было три: две нижние и одна верхняя, длинная, козырьком накладывающаяся на двойную нижнюю губу. – Сладкими соевыми батончиками или чем-то еще?

Напарники губастого дружно заржали, смех их был неприятен Мамкину. Что-то холодное, жесткое возникло у него в груди, поползло куда-то вниз, в живот, родило ознобную боль, Мамкин потряс головой, приходя в себя и положил руку на кобуру.

– Что, хотите чайку испить с моими батончиками?

– Ай-яй-яй, сейчас наган вытащит – как страшно! – запричитал трехгубый. – Как бы нам в обморок не попадать, всем сразу. Ай-яй-яй, – завопил он снова.

Пистолет – потертый, с облысевшим воронением ТТ Мамкин выхватил так стремительно, что налетчики даже не успели отреагировать на это движение: одно мгновение – и он уже сжи-

мал своего «Тульского Токарева» пальцами. Короткое движение стволом вверх, и налетчиков оглушил грохот выстрела.

Звук у ТТ всегда был сильный, звон из ушей после стрельбы надо вытряхивать долго, налетчики разом отшатнулись от Мамкина с Леной, замерли в нехорошем онемении.

– Может, кто-то захотел отведать сладкого батончика персонально? – спросил Мамкин, направил пистолет на трехгубого. – Ну?

– Тихо-тихо, парень, мы же пошутили, – примиряющее пробормотал трехгубый, – ты чего, шуток не понимаешь?

– Как видишь, не понимаю, – гаркнул Мамкин на всю улицу, сделал это специально – пусть народ знает, что происходит у него под боком.

Трехгубый поднял руки, в успокаивающем движении придавил ими воздух.

– Все-все, начальник... Мы уходим.

– Уходите? Куда? – Мамкин ткнул в него стволом пистолета. – А ну стоять!

– Уходим, уходим, – примирительно прорычал трехгубый, – извини, начальник!

В следующее мгновение он неожиданно развернулся и, гулко топая ботинками, прыжками унесся в темную холодную подворотню, следом за ним затопали мерзлыми подошвами его напарники, – всего несколько секунд прошло, а гоп-стопников не то чтобы не было, ими вообще уже не пахло: из пространства даже их дух выветрился.

Мамкин потыкал стволом ТТ в темноту, вначале в одну сторону, потом в другую и засунул пистолет в кобуру.

Девушка стояла рядом, крепко ухватившись за его локоть, как за единственное спасение. А ведь это действительно так – он единственное ее спасение: эти уроды раздели бы девушку до нижнего белья и, если бы не Мамкин, домой отправили бы в одной комбинации. Да вдобавок бы еще и изнасиловали. И откуда только берутся такие люди? Известно откуда – их рождает человеческое общество.

– Испугались? – хриплым напряженным шепотом поинтересовался Мамкин. – Не бойтесь, они больше не вернуться.

Девушку трясло, – дрожь эта нервная не проходит обычно долго, скручивает человека в жгут, это Мамкин знал, как никто – видел таких людей не единожды, – а потом дрожь исчезает, остаются только воспоминания. Но и воспоминания эти, в свою очередь, рождают на коже колючую, трескучую сыпь, которая не проходит, кажется, никогда. Увы.

Остаток пути до Лениного дома, расположенного в конце проулка, – метров двести-двести пятьдесят, – проделали без «дорожных приключений». Дом, в котором обитала Лена, был обычным дощатым бараком, из щелей которого в нескольких местах высыпались круглые пузырчатые шарики шлака – лучшего утеплителя той поры.

Лена остановилась, показала на барак рукой:

– Здесь я живу.

Голос у нее подрагивал – еще не оправилась от встречи с гоп-стопниками, – озноб пока не прошел, но он пройдет, хотя и не сразу, для этого нужно время.

– А вы говорили, добежите сами, без охраны... Больше не рискуйте, Лена. – Мамкин улыбнулся сочувственно и одновременно тревожно – на родине Ленина могли бы давно переловить не только искателей приключений, встретившихся им, но и всех других, кто залезает в чужие карманы или выдает себя за сына лейтенанта Шмидта. Но нет, взяли и зачем-то оставили мусор на развод. – Я вам напишу с фронта, можно? – Мамкин внезапно почувствовал, что голос у него наполняется простудной хрипотой.

Девушка согласно наклонила голову, стерла что-то с уголков глаз.

Фамилия у нее была простая, русская, как, собственно, и биография, – Воробьева. Она продиктовала свой адрес и, пока Мамкин, едва приметно шевеля губами, запоминал его, про-

вела рукой по шинели, стряхивая что-то, поправила борт и, взглянув на Мамкина прощально, одолела что-то в себе, сорвалась с места и побежала к барраку.

Некоторое время Мамкин глядел ей вслед, глядел, даже когда девушки не стало – ее поглотило серое, неряшливо огруженное на земле строение, потом, словно бы не веря тому, что Лены уже нет, сглотнул твердый солоноватый ком, возникший во рту, и тихими вялыми шагами двинулся к выходу из проулка.

Ему теперь надо было по нескольким улицам добраться до кинотеатра, а от него прямая дорожка вела к общежитию, в котором поселили летчиков полка гражданской авиации, прибывших с фронта.

На душе было беспокойно, тускло, горло сдавливало что-то непонятное – то ли боль, то ли тоска, решившая внезапно навалиться на него, то ли голод – после тощего завтрака в восемь часов утра он больше ничего не ел... Но это – дело поправимое, в тумбочке у него лежит полбуханки серого местного хлеба и два куска пиленого сахара.

Если не удастся достать заварки, то он вскипятит чайник и полакомится кипятком. – такой вариант тоже устраивал Мамкина.

Лена писала, что у нее все в порядке, она жива и здорова, только вот ребята ее класса ведут себя не по-пионерски – шалят, шумят, безобразничают: считают Елену Сергеевну своей ровесницей и поступают соответственно, а вот как справиться с ними, она не знает... Мамкин не сдержал улыбки – представил себе, как Лена воюет с горластыми школьными воробьями.

Воробьева-воробей воюет с воробьями. Можно понять, какой шум стоит у нее в классе.

Еще Лена жаловалась, что ей не удалось съездить к тетке на другой берег Волги: власти закрыли мост для гражданских лиц, надо оформлять пропуск, а это – штука затяжная, поскольку некий изобретательный бюрократ придумал целую процедуру их выдачи и приравнял эти никчемные бумажки к фронтовым наградам. Чтобы получить бумаженцию, надо едва ли не подвиг совершить.

– Тьфу! – отплюнулся Мамкин. – Душонки бумажные, чтоб вас приподняло да хлопнуло!

Ругаться Мамкин не умел, в его родной деревне это не культивировалось, не ругались ни матом, ни чернаком. Да и очень сопротивлялись жители внутренне, когда требовалось обзывать кого-нибудь олухом или просто лодырем. Такова была моральная культура у его земляков, и Мамкин ее поддерживал.

Еще Лена сообщала, что с фронта в их школу вернулись два учителя, оба комиссованные после ранения, один вообще на костылях... Мамкин не выдержал, поморщился сочувственно: молодому мужику на костылях будет трудно, особенно трудно на первых порах, жизнь покажется величиной с овчинку, но делать инвалиду нечего – надо жить, дышать, радоваться голубому небу и приспособливаться к реалиям быта. Гораздо хуже тем, у кого оторваны руки или выбиты глаза.

Лена писала также, что ее сделали классной руководительницей сразу в двух сменах, утренней и вечерней, – утром она преподносит науки школярам, а во вторую смену занимается со старшеклассниками, толкует с ними о жизни и пропагандирует русскую литературу, – вплоть до великой книги «Война и мир». Старшеклассники относятся к Толстому очень серьезно, и эта серьезность Елену Сергеевну радует...

– Мамкин! Саша! – раздался за спиной недовольный голос командира эскадрильи. – Ты почему не отдыхаешь? Завтра утром, как только рассветет, тебе снова лететь к партизанам.

– Понял, – хмурым голосом проговорил Мамкин, улыбка сползла с его лица: только что он общался с Леной, вспоминал ее, был доволен, на душе рождалось светлое тепло, но вот комэск все прервал.

Восход солнца завтра в пять сорок утра, значит, в это время он уже должен будет сидеть в кабине кукурузника и с прогретым мотором готовиться к рулежке, за которой последует взлет.

– Все понял? – напористо поинтересовался Игнатенко.

– Все.

– Тогда выпей чаю на сон грядущий и – баю-баюшки баю...

Вечер сгустился над аэродромом, было много фиолетовых красок – и тени были фиолетовыми, и свет – с примесью яркой белесости, в недалеком лесочке, среди деревьев, перемещались какие-то искривленные фиолетовые фигуры, то пропадали, то возникали вновь, свежий ветер приносил оттуда запах влажной лежалой травы, кореньев и чего-то еще, непонятного и даже сладкого, – возможно, просыпающихся цветов.

Но день сейчас, слава богу, стал большим, не то что где-нибудь в конце ноября – семь часов с небольшим довеском, ныне же долгота его – тринадцать-четырнадцать часов. При определенной сноровке можно сделать два рейса к партизанам.

Придя в сарай, жарко протопленный дежурным сержантом из БАО – батальона аэродромного обслуживания, Мамкин стянул с себя унты, комбинезон и нырнул под двойное одеяло, сшитое и пары шерстяных трофейных покрывал.

Покрывала были теплые, мягкие, так что усталый Мамкин уснул почти мгновенно...

Рано утром вылететь не удалось – на землю напал сильный туман, лег плотно, как снег, вылетел Мамкин в два часа дня, почти у самой критической отметки, которая позволяла вернуться домой засветло.

Линию фронта лучше всего было проходить в воздухе по коридорам (как, собственно, и на земле), которые Мамкин определял сам, глядя на карты, испещренные значками и уточнениями разведчиков, добавлял к ним свои собственные наблюдения, сделанные с высоты... Таким образом коридоры мамкинские проходили над стыками гитлеровских частей, там, где не было зенитных пулеметов.

Впрочем, если напороться и на простой пулемет – тоже будет несладко, фанерный У-2 может запылывать, как свечка, поэтому в воздухе Мамкин всегда ожесточенно крутил головой, стараясь засекал все опасные места на земле, а заодно следить за пространством. Из-за любого дырявого облачишки мог выскользнуть «мессер» – машина скоростная и очень опасная, цепкая.

Спасти кукурузник при встрече с «мессером» могла только малая высота, да черепашья скорость.

«Мессерам» черепашья скорости не были подвластны, и Мамкин старался использовать это обстоятельство максимально и научился ловко обходить немецких летчиков вокруг пальца.

Немцы ругались в воздухе последними словами, обзывали пилота «рабом тряпичной машины», «русской свиньей», «летающим сортиром», плевались, но ничего поделать не могли. Стоило им только сбавить скорость, чтобы совершить маневр и приладиться к «кукурузнику», как «мессер» немедленно начинал терять высоту – того гляди, клюнет носом и сорвется в штопор.

Но хуже «мессеров» были зенитные установки, расположенные на земле. Их Мамкин старался обходить аккуратно, поштучно и, честно говоря, побаивался больше, чем «мессеров», особенно, когда снизу начинали бить четырехствольные установки – в четыре раскаленные струи.

Такая установка разрежет пополам не только кукурузник – легко распилит даже бронированный штурмовик.

В одном месте, в лесу, он заметил четыре немецкие машины мрачного серого цвета с черными крестами на дверях кабин, на прицепе у двух находились зенитные лафеты с длинными стволами, две другие машины были накрыты брезентовыми пологам, – то ли ящики с боеприпасами там находились, то ли люди, – с высоты не определить...

А с земли повеяло таким холодом, что Мамкин поспешно дал газ, уходя в сторону, нырнул в сизую слоистую дымку и потянулся к планшетке, чтобы нанести замеченную огневую точку на карту.

В горле возник противный комок, имеющий странный свинцовый привкус, Мамкин ухватился за кадык пальцами, чтобы освободить горло, помочь одолеть пробку, но пробка оказалась упрямая, простыми манипуляциями не одолеть. Надо пару раз крепко врезать самому себе по хребту, только тогда пробка пойдет трещинами и начнет рассасываться.

Внизу медленно тянулся мрачный лес, сквозь черноту сосновых макушек угрюмо просвечивали серые снеговые пятна, иногда попадались темные развороченные поляны, искаленные немецкими бомбами – это фрицы стремились достать партизан... Достали ль они их – никому не ведомо (кроме партизан, конечно), а вот лес здешний достали точно – даже с высоты были видны измочаленные толстые корни, тянувшиеся в молитвенном движении вверх, изрубленные ободранные комли, стволы, обломки пней были небрежно разбросаны.

Хорошо, что хоть уцелевшие деревья не засохли.

Попадались места, куда немцы носа не совали, боялись, поэтому старались обрабатывать их с самолетов.

Впереди мелькнула тройка серых, сливающихся с небом «мессеров», Мамкин засек их раньше, чем они засекли его, торопливо нырнул вниз, постарался слиться с верхней бровкой леса, – некоторое время полз над самыми макушками деревьев, чуть не цепляясь за них колесами, выжидал.

Немцы, потеряв его, прочесали пространство над лесом и исчезли, слившись с выпуклой обрезью горизонта – у них были свои дела, у Мамкина – свои.

Он добавил газа, немного набрал высоты и поспешил на партизанский аэродром, расположенный в темных лесных дебрях, с неба, к сожалению, ничем не прикрытых. А прикрыть надо было бы – ведь изуродовать ровную полосу, отведенную для взлетов и посадок, очень несложно: две-три бомбы, сброшенные прицельно с небольшой высоты, ломали все, после налета можно было искать место для нового аэродрома.

Идя по маршруту, он продолжал примечать разные детали – поваленные деревья, пару дымков, мирно, совершенно по-домашнему вьющихся среди могучих, слившихся макушками в единый непроницаемый полог сосен, некрупное озерцо с черной серединой – недавно в нем проломили лед... Все это надо было знать Мамкину, знать и помнить, поскольку любая из этих деталей могла сгодиться завтра или послезавтра, и не просто сгодиться, а помочь ему остаться в живых.

Он пролетел десятка полтора километров и увидел, что слева над лесом поднялась большая стая ворон. Вороны в дебрях не живут... Тогда что они тут делают?

Понятно, что. Прилетели на человечину. Явно там на полянке, где-нибудь в укромном месте лежат убитые. Немцы ли это, либо русские с белорусами, или же какие-нибудь беженцы, прятавшиеся в землянках, узнать Мамкину не было дано, сверху этого не увидишь.

Важно другое: вороны прилетели на запах чужого несчастья. Сбившись в плотную темную кучу, они могли всасться в мотор, в винт, переломать лопасти, а это – штука для кукурузника опасная.

Проводив самолет недобрыми взмахами крыльев, стая вновь опустилась в лес – доедать недоеденное.

– Тьфу! – не удержался Мамкин, сплюнул через плечо. – Жаль, дробовика нет... Тьфу еще раз! – Он заметил далеко в стороне крестик одинокого самолета, но определить, что это за аппарат, наш или немецкий, не успел – тот растаял в воздухе. Наверное, такой же бедолага, как и он, вооруженный пукалкой, посыльный или почтовый... М-да, так и хочется выругаться.

Через тридцать минут он был уже у партизан.

– Ну, как ты, друг сердечный, поживаешь? – увидев Витьку Климовича, Мамкин ухватил его за козырек старой потертой ушанки, нахлобучил на нос. – Угадай, чего я тебе привез?

– Конфету с Большой земли, – наугад, не задумываясь ни на секунду, ответил Витька и шмыгнул ноздрями.

Действительно, ну что еще может привезти пацану взрослый дядя с родной земли, на которой фрицами, наверное, уже совсем не пахнет?

– Почти угадал, но не конфету... А носом чего шмыгаешь?

– По привычке.

– Главное, чтобы не по причине простудного соплеобразования, понял? – Мамкин достал из кармана небольшой комочек, обтянутый пергаментной бумагой. – Вот, держи.

– Чего это?

– Чего-чего... Дают – бери, бьют – беги...

Витька с интересом развернул пергаментную бумагу, внутри оказался темный, с бугристой поверхностью, шоколад.

– Ух, ты!

– Летная пайка, – пояснил Мамкин, – в полку таким шоколадом кормят летчиков.

– Ух, ты! – повторил самого себя Витька, сунул нос в шоколад, затянулся сладким тропическим духом. – Пахнет как хорошо! Это наш шоколад, советский?

– Наш, – подтвердил Мамкин, – советский. Шоколад нам в полк прямо из Москвы привозят.

– Из самой Москвы? – Витькино лицо от неожиданности даже засветилось, сделалось торжественным, как в праздник Седьмого ноября, глаза посветлели. – Неужто из нее самой? Не загибаешь?

– Не загибаю, – с серьезным видом ответил Мамкин. – Пробуй, пробуй шоколад – через пару лет летчиком станешь. Как тебе такая перспектива?

– Через пару лет – вряд ли, – сомневающимся тоном произнес Витька. – Рано. – Аккуратно откусил кусочек шоколада. Разжевав, произнес восхищенно: – М-м-м, и верно, из самой Москвы.

В кукурузник тем временем грузили бывших детдомовцев, – впрочем, не совсем бывших, на Большой земле ребят без внимания не оставят, пристроят в какой-нибудь теплый, удобный, пахнущий вкусной едой детский дом санаторного типа. На Урале, в Сибири, либо в другом месте, до которого никогда не дотянутся фрицевы лапы.

– Вкусно, – сказал Витька, распробовав «лётную пайку», – гораздо вкуснее немецкого шоколада.

Мамкин с таким сравнением не согласился.

– Еще чего не хватало – наш шоколад класть на одну полку с немецким. – Голос его сделался недовольным, в нем появились скрипучие нотки. – Немецкий – на четыре полки ниже.

Несмотря на то что уже стоял апрель, темнеть начало быстро – в воздухе словно бы серая морось повисла, распылилась над землей, прилипла к сосновым веткам, сгустилась в сырых низинах... Это означало, что вечер будет затяжной, слепой, все предметы в нем начнут расплываться, растекаться по воздуху, обманывать человека, играть с ним – высоту, на которой идет самолет, можно будет определять только по приборам, все остальные определения окажутся неверными...

Немцы называют такую видимость «между волком и собакой», в ней невозможно различить ни волка, ни собаку, ни страуса, ни пингвина – никого, словом. Немцы даже летать опасаются... Хотя летчики они – очень неплохие, это Мамкин знал по собственному опыту.

Он проверил ребят, погруженных в кукурузник, подергал крепления, пробуя их на прочность – не покалечатся ли во время возможных маневров в воздухе, перед тем как запустить мотор, подошел к Витьке Климовичу, привычно нахлобучил ему на нос козырек шапки.

– Летная пайка понравилась?

– Очень.

– В следующий раз привезу еще.

– А когда вы прилетите? – на «вы» спросил Витька.

– Завтра.

Погода назавтра выдалась паршивая. С утра пошел снег – крупный, очень похожий на новогодний, хотя и по-весеннему липкий, но потом температура воздуха поднялась, сильно потеплело, и снег обратился в дождь.

Дождь хлестал по земле яростно, за пару часов съел половину сугробов, оголил кусты и старые пни, начал рвать за жидкие космы прошлогоднюю траву.

Погода погодой, а вот задание-то никто не отменял: Мамкину надо было снова лететь в партизанский отряд. Он выждал, когда дождь немного подрастеряет свою прыть, запросил у метеорологов погоду, те дождевого усиления не обещали, и Мамкин решил взлетать.

Дорожка в воздухе была проторенная, изученная, у него имелось несколько коридоров, если в одном месте возникнет какая-нибудь непредвиденная бяка, он перескочит в другое место, – сунул в карман два пирожка с повидлом – для Витьки, и пошел к кукурузнику.

По дороге его догнал Игнатенко.

– Ты это, Сань, поаккуратнее будь, – попросил он, – сейчас могут летать только всепогодники, а ты помни... ты – всенепогодник. Понял? Это совсем другой коленкор. Хотя... хотя есть и положительный момент – посреди этого серого дождя вряд ли встретятся фрицы.

Тут Ефремыч, конечно, был прав – стоит только затеяться какой-нибудь хмари, да еще к ней добавить немного дымки, как немцы дружно прекращают свои полеты, сидят на аэродромах и глушат шнапс. По этой части они не меньшие мастера, чем русские по части бимбера – свекольного самогона.

– В общем, поаккуратнее будь, – вновь попросил на прощание Игнатенко, – следи, чтобы глаза твои не только нос видели, но и затылок. Вперед!

Дождь той порой вообще преобразовался в пыль. Но пыль эта была хуже сильного ливня, насквозь пропитывала все, что попадало под нее, – деревья, ткань, фанеру, даже металл, все делалось настолько сырым, что из всего можно было выжимать влагу.

Кукурузник отрывался от земли неохотно, тяжело, словно бы машину кто-то пытался держать за лыжи, – видно было, что эта муторная погода ей в нагрузку, как простудная болезнь, самолет тряс корпусом, перкалевыми крыльями, хрипел, стонал, плевался черным дымом, готов был плакать, но все-таки подчинился воле Мамкина, одолел земное притяжение и взлетел.

Сделав полуразворот, Мамкин взял курс на запад, к линии фронта. Глянул вниз – что там? Самолет шел на малой высоте... впрочем, для У-2 эта высота была вполне нормальной – это раз, и два – в такую погоду высоту можно было увеличить, все равно «мессеры» сегодня вряд ли выскребутся со своих аэродромных стоянок и взмоют в небо – исключено. Но набирать высоту Мамкин не стал.

Надо было увидеть, понять, что происходит на земле сегодня. А на земле, несмотря на непогоду, происходила обычная суета: согласно приказам высокого начальства передвигались войска – одни в сторону погромывающей выстрелами линии фронта, чтобы занять место в окопах, другие – в сторону тыла, на отдых или лечение, на переформировку, в конце концов, – в общем, у каждого потока была своя цель. В стороне от дороги в лесу «отдыхала» замаскированная колонна танков... Раз появились танки – значит, предстоит наступление.

Второй признак грядущего наступления – артиллерия. Если покажутся пушки на прицепе – значит, скоро будет отдан приказ сломать Гитлеру очередную руку или ногу.

Пушки попались – мощные «студебеккеры» тащили на прицепе целый артиллерийский полк. Сверху было видно, как из-под колес машин летят крупные ошмотья слипшегося мокрого снега, потом Мамкин засек еще одну артиллерийскую колонну, калибром помельче, пушки в ней тащили полуторки, все до единой новые, только что с завода. Значит, и воинская часть эта – новая, в кулак собираются силы, способные дать фюреру кулаком в ноздри.

– Вот хорошо! – не удержался Мамкин от восторженного восклицания и отер перчаткой мокрое лицо. – Так и до партизан фронт скоро докатится.

Мамкин даже на сиденье своем кожаном попытался приподняться, дать волю чувствам, забыв, что он привязан к креслу ремнями – расстаться с пилотским местом ему не дано.

Полет прошел спокойно, Мамкин и не заметил, как пришла пора приземляться... Он сделал круг над лесом и пошел вниз. Во время посадки из-под лыж вымахнули такие гребни мокрого снега, что они чуть не накрыли кукурузник с верхом. Будто два огромных крыла. Мамкину снег залепил даже лицо. Другой бы разозлился, выругался, а Мамкин лишь привычно обтерся и улыбнулся довольно:

– Хорошо... Весна!

Приготовившиеся к эвакуации ребята уже толпились под навесом, сделанным из лапника; первым из-под навеса выскочил часовой Витька Климович, закинул на плечо «шмайссер», замахал летчику одной рукой:

– Привет, дядя Мамкин!

Мамкин выбрался из кабины на мокрое крыло, с которого вода стекала сплошным ручьем, спрыгнул на темную куртину, вытаявшую из снега.

– Привет, Витька! – сказал он. – Как жизнь молодая, холостяцкая?

Витька неожиданно потупился. Тут Мамкин заметил, что за Витькой к кукурузнику протянулся еще один паренек с рыжей, почти огненной шевелюрой – из породы тех, про кого в детстве пели: «Рыжий, рыжий, конопатый, огрел дедушку лопатой...» Наряжен рыжий был в телогрейку, из которой уже вырос, из коротких рукавов торчали большие красные кисти рук, настывшие в сырой мокрети, паренек стеснялся их, на голове у него гнездилась шапчонка с вытершимся до основания мехом.

– Знакомся, – сказал Климович летчику, – это мой приятель. Он – тезка, его тоже Витькой зовут. Фамилия – Вепринцев.

Мамкин подумал: хорошо, что он взял два пирожка. Получится по одному на нос, больше пирожков в летной столовой, к сожалению, не нашлось, не дали бы даже командиру полка – пирожки кончились. Мамкин протянул Витьке Вепринцеву руку, будто взрослому и представился, как и положено в таких случаях, тоже по-взрослому:

– Пилот гражданской авиации Александр Мамкин!

Вепринцев почтительно пожал протянутую ему руку, проговорил едва слышно:

– Виктор.

– А я вам, ребята, гостинец от наших летчиков привез. – Мамкин достал из кармана пирожки, завернутые в вощеную бумагу, похвалился: – С повидлом. Один пирожок одному Виктору, второй – другому. И – привет от командира нашей эскадрильи товарища Игнатенко.

– Витька к нам в отряд просится, но его не берут, – пожаловался Климович.

– Может, мне походатайствовать перед командиром? – предложил Мамкин.

– Бесполезно. – Климович подпернул на плече автомат и махнул рукой. – Уже пробовали, только командир показал нам радиogramму, где приказано вывезти детдом полностью, все сто пятьдесят человек. А если кого-то оставят у партизан, то с командира спросят по всей фронтовой строгости, вплоть до перевода в рядовые.

– М-да. – Мамкин с озабоченным видом поправил на голове шлемофон, проверил расшатавшуюся кнопку на ремешке – не вылетела ли? Нет, не вылетела. – Раз так, то я, наверное, бессилен.

– А там, за линией фронта, нельзя с кем-нибудь поговорить? А, дядя Мамкин?

– Главный партизанской штаб, Вить, находится не за линией фронта, в соседней землянке, а в Москве... Получается, что нельзя. Извини, конечно, но дело обстоит именно так... До Москвы я не дотянусь.

– Жалко. – Витька Климович заметно сник, зашмыгал носом.

Пирожок он упледел в один присест, махом. Проглотил, можно сказать, и расплылся в озабоченной бледной улыбке.

– Вкусно.

Второй Витька последовал за ним. Только расправлялся он со своим пирожком медленно, смаковал угощение, откусывал по крохотному кусочку, языком слизывал повидло, мелко работал зубами, давя прожаренное тесто – давно не ел русских пирожков... В оккупации, конечно, можно и онемечиться.

– А вот еще что есть. – Мамкин достал из планшетки небольшой плоский брикет, обернутый фольгой. – Еще кое-что... – Отдал брикет Климовичу. – Раздели пополам. Это, ребята, ваш летный паек.

В это время из леса выскочили двое саней. На передних санях Мамкин разглядел командира партизанского отряда Сафьянова. Бороду он себе малость укоротил и соответственно – помолодел. На груди у Сафьянова висел автомат с круглым диском – наш, советский, – ППШ.

В санях сидело человек шесть партизан. Во вторых санях стоял трофейный станковый пулемет и также сидели партизаны – прибыла смена аэродромного караула.

Кукурузник был уже полон и можно было взлетать, но Мамкин решил поговорить с командиром – вдруг что-нибудь удастся сделать для Витьки? Причем неважно, для какого Витьки, первого или второго, – дело-то общее.

Сафьяныч сам направился к самолету – позать благодарно руку: хорошо, что Мамкин не забывает партизан, мог ведь улететь куда-нибудь еще, но нет, – летчик, проделав небесную дорожку в отряд, каждый раз возвращается сюда, вывозит пострадавших ребят... Сафьяныч пожал пилоту руку. Спросил по-дежурному быстро, глотая слова:

– Все в порядке?

– Все, – ответил Мамкин, – только вот... – Он замялся, не знал имени-отчества командира, а назвать его Сафьянычем, как называли партизаны, было неудобно.

– Чего только? – Командир отряда вопросительно поднял брови.

– Да вот... Один юный партизан просит за своего приятеля, чтобы того оставили в отряде...

– Витька Климович, что ли? Я же ему все объяснил. Если я не выполню приказ и кого-нибудь оставлю у себя – пойду под трибунал.

– Я ему тоже об этом сказал, но – дело молодое, горячее, знаете...

– Единственное, что я могу сделать – парнишку этого, Вепринцев его фамилия, кажется... – отправить на Большую землю с последним самолетом. Так что еще неделю с лишним он может провести в отряде.

– Спасибо за это. – Мамкин неуклюже приложил руку к груди – ну будто из фильма срисовал этот жест. – Это тоже много. Ну, я полетел!

– Счастливо, друг! Всегда ждем тебя, – торжественно и как-то очень церемонно объявил Сафьяныч, и Мамкин полез в самолет – надо было проверить, как устроились ребята среди неудобных фанерных конструкций.

Через несколько минут он запустил мотор, сделал перегазовку – движок покорно загремел, крылья самолета затряслись, и У-2, дернувшись резко, стронулся с места, наехал лыжами на небольшой сырой сугроб, небрежно смял его и пошел на взлет.

Мальчишкой, когда жил в деревне, Мамкин не раз видел, с какой радостью иная хилая лошаденка бежит домой – телега может рассыпаться от непомерной скорости. А скоростенка-то часто бывает в два раза выше той, с которой лошадка утром, выспавшаяся, отдохнувшая, отправлялась из конюшни в поле. Да и дорога домой часто бывает значительно короче, чем дорога из дома. Это закон.

Так и кукурузник. Взлет прошел лихо, легко, без перегазовок и разных объяснений с машиной, – иногда Мамкин объяснялся с самолетом и, если честно, вообще считал его живым существом, имеющим душу, сердце, память и вообще все, что имеет человек. И самолет угорам поддавался – к летчику Мамкину он относился с уважением... Ну кто после этого скажет, что у кукурузника нет души?

Температура в небе немного сползла вниз, на земле было теплее, чем здесь, среди облаков, сверху косым потоком сыпались белые влажные перья, крутили виражи перед пропеллером и, перемолотые в пыль, уносились в разные стороны...

Мамкин прислушался: как там сзади ребята, все ли с ними в порядке, не стучат ли кулаками по обшивке? Нет, вроде бы не стучат, в «трюме» было тихо.

Чем ближе подходил кукурузник к линии фронта, тем лучше делалась погода, тем яснее становилось небо. «Весна берет свое», – отметил Мамкин. На душе было тревожно.

Все приключения, которые когда-либо выпадали на его долю, он чувствовал заранее, так было всегда. И вообще он считал это едва ли не обязательным условием своей фронтовой жизни.

Предчувствие не обмануло его: справа он засек двух «мессеров», идущих на небольшой высоте. «Опасные волки, – мелькнуло у Мамкина в голове, – идут на высоте, которая доступна только опытным фрицам. Начинающие на ней не ходят. Уж не те ли это волки, которых я видел в прошлый раз?»

Он ощутил необходимость немедленно куда-нибудь нырнуть, спрятаться, уйти в первое подвернувшееся плотное облако, чтобы «мессеры» не засекли кукурузник, не кинулись на него, как два шакала на утенка, случайно вылезшего из воды на берег...

В следующий миг Мамкин понял – немцы тоже увидели его, стремительно развернулись и, почти сливаясь с пространством, делаясь невидимыми в темном воздухе сумеречного дня, пошли на кукурузник в атаку.

Мамкин глянул вниз – что там под крыльями? Внизу тянулось старое поле, которое уже несколько лет подряд не пахали, со смерзшимися зарослями полыни, крапивы, чертополоха, каких-то низких, с раскидистыми голыми ветками кустов... Если это поле не распахать, то через несколько лет здесь будет расти лес.

Нырнуть вниз? Но что это даст? Здесь же негде спрятаться, за облещенные низкорослые округлые кусты с короткими жесткими ветками неуклюжий четырехкрылый самолет не спрячешь. Набрать побольше высоту? Но там тихоходная машина вообще будет уязвима, как цыпленок на ладони, – щелчком можно будет сбить. Что делать?

Впереди, неглубоко внизу, к кукурузнику потихоньку приближался прозрачно-темный заснеженный лесок. Мамкин устремился к этой гряде деревьев, как к последней надежде: главное – дотянуться до него, а там...

Там вдруг что-нибудь подвернется. Надежда ведь всегда умирает последней. Мамкин до предела выжал газ, – кукурузник теперь шел на пределе своих возможностей, – но леса он достичь не успел, как над ним с ревом промахнулись оба немецких самолета и на манер цветка о двух головках разошлись в разные стороны.

Сейчас будут заходить Мамкину в хвост – для атаки; вначале один зайдет, потом второй. Жаль, что у Мамкина на затылке нет глаз. Теперь его может спасти только тихий ход. На этом и надо поймать фрицев. Если бы кукурузник мог зависнуть на одном месте, Мамкин в нужный момент сделал бы и это, но этажерка не умела останавливаться в воздухе и замирать в одной точке.

Он оглянулся, засек, как один немец пристраивается к кукурузнику – облизывается уже, наверное, довольно, считает, что добыча займет достойное место в его желудке, – и за несколько миггов до того, как пилот «мессера» нажал на гашетку, ловко бросил машину вниз... Неглубоко бросил, метров на десять всего.

Длинная дымная очередь прошла над кукурузником и исчезла в пространстве. «Мессер» с ревом проскочил над самолетом Мамкина и крутой вертикальной свечкой заскользил вверх.

Второй «мессер» решил довести маневр первого до конца и также начал пристраиваться в хвост мамкинской этажерке.

Мамкин также повел самолет вверх, выпрямил машину, переводя полет в горизонталь. Сейчас важно было не выпустить из вида ни первого, ни второго, по десятым, может быть, даже сотым долям секунды просчитывать их действия.

Толкаться друг с другом, чтобы сбить кукурузник, немцы не станут, не в их это характере. Фрицы уверены в своей победе, хорошо знают, что максимум, чего может сделать пилот «русише фанер» – стрельнуть в них каким-нибудь шоколадным батончиком, либо ледышкой, прицепившейся к крылу, больше ничего у него нет. Обманывать долго не удастся.

Пилоты «мессершмиттов» хохотали, глядя на неуклюжего тихохода, тупо борющегося с пространством, с тяжелым, пропитанным влагой и холодом воздухом, который, как им казалось, отбрасывает этот странный самолетик назад, прямо под стволы немецких авиапулеметов.

Мамкин тем временем отметил, что немец, приготовившийся атаковать, решил немного приподняться, а это означало одно – будет бить сверху, чтобы разрезать кукурузник сразу пополам, от носа до хвоста.

Но чтобы стрелять сверху, он должен будет в полете опустить нос, иначе промажет. Вот этот-то момент и надо будет засечь, не проворонить. Мамкин ощутил, как во рту у него сделалось сухо, губы начало покалывать от чего-то острого, ранее не опробованного. Не заметил летчик, что от напряжения он сдвинул зубами нижнюю губу, прокусил ее до крови. Кровь выступила и на деснах.

И точно – выйдя на линию стрельбы, немец начал тихо, опасаясь, что «русише фанер» уйдет из прицела, очень аккуратно опускать нос своей машины.

На этой аккуратности Мамкин и сработал, он резко пошел в гору. Все заняло несколько коротких, очень жестких секунд, в которые Мамкин ощутил каждую свою косточку, каждую жилку, был готов принять все заряды, выпущенные немецким истребителем, в себя, лишь бы остались живы ребятишки, набившиеся в фюзеляж кукурузника.

Длинная струя, плюющаяся дымом и ошметками огня, прошла ниже У-2, чуть не зацепив за латаные-перелатаные лыжи советского самолета... Удивленно ахнув от того, что не попал, немец поспешно отвернул в сторону, с досадой хлопнул себя кулаком по колену. Потом понимающе пробормотал сквозь зубы:

– Всякая курица, даже та, у которой нет яиц, хочет жить... Так и этот русский. – Пилот расцепил зубы, улыбнулся через силу, хотя на русского пилота был зол.

А на кукурузник делал новый заход первый «мессер». Пилот и этого самолета также вожделенно стискивал зубы, желая расправиться с летающей «русской фанерой». Ведь одного, максимум двух попаданий из пулемета было бы достаточно, чтобы эта кривая школьная доска с протертыми дырами вспыхнула, как кусок газеты, смоченный керосином, – в полторы минуты от смешной тарыхтелки останется только пепел. И еще немного вони.

Немец отплюнулся.

Тем временем к кукурузнику подполз лесок, к которому Мамкин устремлялся, вниз, под крыльями начали беззвучно и как-то очень уж спокойно проплывать макушки деревьев. Снег серел в основном у комлей деревьев, а вот на ветках его почти не было, лишь где-то в глубине еловых лап виднелись ноздреватые, изъеденные капелью нахлобучки, но этот снег уже нельзя было назвать снегом... Это был не снег, а жалкое воспоминание о нем.

Леску этому, наполовину разбитому, Мамкин обрадовался – все-таки выросли деревья на родной земле, свои они, не чужие, защитят, ежели что, – если не защитят, то помогут.

«Мессеры» сделали еще два захода на кукурузник, нападали на него с хвоста и сверху, жалели, что не могли атаковать спереди и снизу. Спереди вообще было опасно – можно не рассчитать свою скорость и угодить под вращающийся винт «русише фанер»; били по Мамкину длинными очередями, но ни разу не попали ни в пилота, ни в мотор.

Мамкину везло, он родился под счастливой звездой, вместе с ним под счастливой звездой родились и ребята, сидевшие и лежавшие сейчас в тесном чреве кукурузника.

Впрочем, во время последней атаки немцев Мамкин почувствовал, что машину тряхнуло, он знал, что означают такие тупые удары, проламывающие дерево, покосился влево и сразу увидел в верхнем крыле несколько пробоин – все-таки фриц попал... Вскользь, правда, по косою, но попал.

Понятно было, что заведенные упрямством не желавшего умирать русского, немцы будут гоняться за ним, пока у них есть боезапас, до последнего, а кончится огонек – поспешат уйти.

Ну, хотя бы какой ястребок с красными звездами на крыльях пришел на помощь, отогнал бы настырных волков, но наших истребителей не было – ни старых «ишачков», ни новых «яков» с «лавочкиными».

Оставалось рассчитывать только на себя. Мамкин подвигал шей – от непонятной тяжести затекли плечи, руки тоже затекли, сделались чужими.

Немцы изменили тактику – выстроились в шеренгу, рядом. Очень плотно, почти касаясь крыльями друг друга, и пошли в атаку. «Придумали что-то новое, – с тоской подумал Мамкин, – раньше у них такого не было, подчинялись только своим летным правилам, отпечатанным на бумаге, а сейчас... Вот гады!»

Он понял, какую тактику изберут сейчас «мессеры»: хотя и нацелились они на сближение с кукурузником, но атаковать будут издали, длинными очередями. А потом свечками взмоют вверх и разойдутся в разные стороны.

Разойдутся, чтобы потом сойтись, и, если кукурузник не будет гореть, свалившись на землю вверх колесами, накинута на Мамкина снова.

– Ну, давайте, давайте! – пробормотал он заведенно, впрочем, без всякого зла на врага, как и без испуга, не слыша своего голоса. – Может, лбами столкнетесь?

Он потом и сам не мог осознать, как это у него получилось, скорее всего, помог Всевышний... «Мессеры» словно бы сговорившись, – а может, так оно и было, – сбросили скорость, всего на немного сбросили, и неожиданно стали проваливаться вниз. Кукурузник выскочил из их прицелов.

Пилоты «мессеров» ударили по газам и сбились с линии, которая должна была вывести их на «русише фанер», – быстро развернулись и снова зашли в хвост Мамкину.

А Мамкин продолжал тархтеть над леском, ползти по-черепашьи неукложе, медленно, тревожно поглядывая то вниз, на макушки деревьев, то назад, одолевая опасный холод, возникающий внутри и тревожась за ребят, находившихся в фюзеляже...

Да, эти сволочи не уйдут, пока не расправятся с ним, а точнее, пока у них в кассетах не кончатся патроны.

Под брюхо кукурузника подползла широкая просека, в которой догнивали штабели здоровенных, ошкуренных, доглядка обработанных бревен. Их приготовили еще до войны, собирались проложить здесь электролинию, но помешали немцы.

Просека была прорублена как раз для этой линии. Мокрая пелена снега всадила в защитное стекло, прикрывающее пилота от встречного ветра, от охлестов дождя и тяжелых снежных лепешек, способных вообще отрубить что-нибудь у У-2, – кабина-то открытая, пилот на виду у всех напастей, в том числе и у пуль, – закрыла обзор спереди. Мамкин поморщился, но в следующую секунду порыв ветра сбил прилипшую к стеклу кашу, вновь стало видно.

Просека – это хорошо, можно будет снизиться до самой земли, даже лыжи поставить на снег, скользить по нему, – «мессеры» на такое не способны, им надо держать высоту хотя бы метров пятьдесят-семьдесят, иначе каюк...

Но это было еще не все. Впереди, в полукилометре примерно, посреди просеки росло дерево, которое не спилили – пожалели, оставили на потом, на самый последний момент, – огромный, вольно росший дуб. Даже не верилось, что он мог вырасти в лесу, плотно окруженный другими деревьями. Их ведь надо было раздвинуть, растолкать, завоевать пространство, землю и воздух... И дубу это удалось. На то он, собственно, и дуб.

Мамкин пошел на высоте, почти равной кромке леса – всего лишь на несколько метров выше, стараясь выжать из кукурузника максимум мощности и скорости. «Мессершмитты» устремились за ним – злобные ребята разве что не лаяли в воздухе... А может, лаяли, но Мамкин их просто не слышал.

– Ну, давай, братуха, тяни, тяни, – в трудные минуты он звал самолет братухой, вкладывая в это слово всю нежность, тепло, на которые был способен... Ведь кукурузник был живым существом, родным, близким ему, ближе была, наверное, только мать, да еще, может быть, Елена Воробьева. Кто еще? Командир эскадрильи Игнатенко? Пусть будет Игнатенко. Кого еще он считает родным? – Тяни, братуха! – взмолился он.

В переднее стекло, заляпанное туманной пылью, мокретью, влажной ледяной кашей, вновь ударил снежный хвост, враз все сделавший невидимым, Мамкин даже приподнялся, почти вылезая из своего комбинезона, чтобы не выпустить из глаз одинокий дуб, вольно контролирующий просеку, стукнул кулаком по металлической раме переднего стекла. Налип попозла вниз.

Органические стекла в очках Мамкина имели желтоватый солнечный оттенок, даже в хмурую погоду летчик видел мир подсвеченным, в торжественном сиянии, как после дождя, когда в небе неожиданно загоралось мокрое солнце и начинало веселить любую, даже самую угрюмую душу.

Мамкин оглянулся назад. «Мессеры» завершили разворот и теперь вновь заходили в хвост кукурузнику. Линия фронта находилась уже недалеко, и немцы спешили – на нашу территорию они вряд ли полезут, это для них было опасно.

Раньше они залезали туда без оглядки, не стеснялись, а сейчас побаиваются. Бывали случаи, когда солдаты, находившиеся на передней линии окопов, сбивали фрицев из пулеметов, даже из винтовок. Горели «мессеры» не хуже дров, брошенных в костер. Погреться можно было бы, если б не смрад, исходящий от полыхающей немецкой техники.

К слову, очень кстати вспомнил сейчас Мамкин, как один из пилотов безоружного кукурузника сбил немецкого разбойника... Точнее, не сбил его, а насадил на точно такое же одинокое дерево, как маячивший впереди дуб. Воевать дома русскому человеку помогает даже сама земля. Всё помогает – и растения, и воздух, и деревья, и даже далекое мутное солнце, с трудом проклевывающееся сквозь ватные шевелящиеся слои облаков.

Мамкин прикинул – где лучше обойти дерево, слева или справа, – так, чтобы не потерять ничего, ни одной важной гайки или стойки крыла, решил, что сподручнее справа, бросил кукурузник вперед и вниз едва ли не к самой земле, а когда до дуба оставалось всего ничего, дал правый крен.

Кукурузник приподнял одну сторону крыльев, вторую опустил и лихо, очень точно, – Мамкин научился точно проводить свой неуклюжий самолет по узким, впритык, местам, где

нет ни одного лишнего метра ни слева, ни справа, ни сверху, ни снизу, – пошел в обгиб дерева. В любую подходящую щель кукурузник входил, как патрон в винтовочный ствол, и так же лихо выходил из нее. Рука у Мамкина не дрожала, не дрогнула и сейчас.

«Мессеры», шедшие сзади, подперли, один даже дал пристрелочную очередь, пули прошли по левую сторону от пилота, между крыльями, верхним и нижним и с грохотом разрезали сырой воздух. Задержи фриц палец на гашетке хотя бы на две секунды, – деревянный мамкинский самолет запольхал бы наверняка.

Вслед за пристрелочной очередью должны были раздаться боевые, – на поражение, – и от тех, кто спрятан в кукурузнике, останутся лишь рваные куски мяса.

Вираз – это был даже не вираз, а полувираз – занял считанные мгновения. Мамкин скользнул брюхом мимо дуба и, напряженно тарахтя мотором, пуская темный дым, понесся дальше, целя носом вверх, чтобы набрать хотя бы несколько метров высоты и занять следующую линию пространства... На несколько мгновений он упустил противника и не видел, что происходило с «мессершмиттами».

Один из них зазвенел мотором так резко и оглушающе опасно, что у тех, кто слышал этот звук, из ушей могла потечь кровь, приподнялся над дубом и косо ушел вправо, второй зевнул на несколько долей секунды, срубил хвостовым оперением пару веток, росших на макушке и, честно говоря, должен был завалиться, но фрицу повезло – не завалился. Только голые ветки, вихляясь, попрыгали вниз, в прокисший, брызжущий моросью снег.

Мамкин тяжело вздохнул: совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы немец закувыркался, как эти срубленные ветки... Жа-аль.

В этот момент он увидел серые фигурки, бегущие по просеке навстречу, и разом узнал наших. На душе у него сделалось светлее, душная тяжесть, давившая на горло, поползла куда-то вниз, в ноги.

С земли по «мессерам» ударили автоматы, и фрицы решили больше не рисковать, «мессершмитт»-сучкоруб пронесся недалеко от кукурузника, и Мамкин увидел, как летчик – молодой, рыжий, наглый, с щеточкой усов «а ля Гитлер», словно бы ниткой пришитых к крупному арийскому носу, вскинул кулак, погрозил пилоту «русише фанер»: берегись, мол!

– Пошел к черту! – пробормотал в ответ Мамкин. – Если не уберешься в преисподнюю, будешь гнить в снегу.

Для себя Мамкин засек одну деталь: раньше немцы вели себя как хотели, воздух кромсали винтами своих «юнкерсов» и «мессеров» по-разбойничьи бесцеремонно, огня с земли не боялись, а сейчас произошел перелом, как только они оказывались в воздухе над нашей территорией, так начинали боязливо поджимать лапы и хвосты, – и на зенитки опасались наткнуться, это было прежде всего, и на наших истребителей, и даже бесшабашной стрельбы русской пехоты, сидящей в окопах, и той стали бояться.

Время изменилось, судьба повернулась к потомкам доблестных тевтонцев задницей, а уж что касается физиономии, то лик свой она старалась не показывать.

– Наша берет, – не удержавшись, обрадованно проговорил Мамкин и потер руки.

Он набрал немного высоты и потихоньку потянул на восток, к своим, поглядывая на рваные дырки, оставленные «мессерами» в крыле, недовольно качая головой – опять механик будет ругаться. Но ничего – поругается и утихнет. Он вообще научился забивать рванину в фанере и ткани чем угодно, даже толстой дубовой корой, не говоря уже о деревянных чопях – их он, ремонтируя машину, вогнал сотни в тело самолета, и кукурузник, останки которого должны были пылиться где-нибудь в кустах, летал до сих пор.

Немцев встревожили регулярные рейсы «русише фанер» в лесную партизанскую глушь. Им казалось, что затевается какая-то большая совместная операция – действующей армии и партизан, – и не могли сообразить, что же это будет за операция.

На разведку по наведению порядка среди пней, обледенелых кочек, обугленных деревьев и вообще искалеченной природы (фрицами же и искалеченной), они бросили специальный батальон. Специальный – значит, чем-то похожий на партизанский, знающий специфику лесной войны, умеющий лазить по глубоким снегам зимой и терпеть летом налеты полчищ комаров, похожих на тучи, способные закрыть половину неба.

Задача, стоявшая перед партизанским отрядом, была одна: пока не будут вывезены на Большую землю все ребята, любой ценой удерживать лесной аэродром. Задача была серьезная, и Сафьяныч ломал голову: как поступить? Может быть, организовать еще один аэродром? Где-нибудь в глуши, а?

Но немцы очень скоро найдут его. Повесят пару двухфюзеляжных «фокке-вульфов» над лесом и через полтора часа будут знать, где партизаны соорудили новую взлетную полосу, потом кинут туда полевой батальон, либо эскадрилью «лапотников» – начиненных бомбами «юнкеров», это им ничего не стоит, и все – взлетной полосы нет.

Поэтому надо было усилить охрану старого аэродрома и из двух имеющихся в отряде трофейных пулеметов слепить примитивные зенитки – все защита будет.

Партизаны научились очень ловко делать эти зенитки: ставили на-попа тележную ось с одним колесом и проволокой прикручивали к колесу пулемет. Пулемет легко вращался на тележной оси и поливал свинцом небо. С настоящей зениткой, конечно, не сравнить, но все равно случалось, что немецкие самолеты шарахались в сторону. Однажды огнем из такого примитивного «самовара» сбили с курса итальянский транспортник. В воздухе он не удержался, потерял высоту и с воем шлепнулся на землю. Партизанам достался хороший трофей – два пулемета, которыми был вооружен итальянец.

Другого оружия у Сафьяныча не было, поэтому он воевал тем, что имел.

Мамкин подсчитал, что всего на полный вывоз детей ему понадобится пятнадцать рейсов. Пятнадцать рейсов – это, в общем-то, и много, и опасно, и один он может не потянуть... Мамкин разжевал что-то твердое, возникшее у него во рту, солоноватое, будто сушка, приготовленная к пиву. Ощутил усталость, вместе с усталостью – слабость и вялую боль... У него ломило мышцы. Это от перегрузок, что возникают в воздухе, от того, что он давно не отдыхал.

В стороне от аэродрома Сафьяныч приказал вырыть две дополнительные землянки, вывернутую наружу землю присыпать снегом, навалить поверху веток, чтобы с воздуха было как можно менее заметно.

Он просил у командования еще один самолет в помощь Мамкину, самолет пообещали, но попросили немного подождать, дело это затянули и в конце концов ничего не выделили. Объяснять причину не стали – обходитесь тем, что есть, и все.

В очередной прилет Сафьяныч с сочувствием подошел к Мамкину, виновато поскреб щетину, выросшую на щеках.

– Хотел я тебе малость облегчить жизнь, да не получилось... Извини.

– Работы много, – произнес Мамкин неожиданно виноватым тоном, – все, что касается тыла, лежит на нас, ни бомбардировщики, ни истребители такими вещами не занимаются. Мы и почту возим, и секретчиков с пакетами, и медицину обслуживаем: то врача надо куда-то доставить, то лекарства с бинтами, то раненых, даже продукты возим, хотя есть военторговские и прочие самолеты. Я, например, перед тем как полететь сюда за ребятами, отвез в полк пехоте целый самолет сухарей. В мешках.

– Сухари – это хорошо. – Сафьяныч легко, как-то обрадованно засмеялся: – Раз приказано пехотинцев снабдить сухарями, значит, предстоит наступление.

Мамкин неопределенно приподнял одно плечо: об этом он как-то не подумал. А думать надо, это никогда не мешает. Ни летчику, ни минометчику – никому. Внутри у него также

возникло что-то легкое, теплое, и он, словно бы поддерживая Сафьяныча, тоже засмеялся. Пошляковски бездумно. Что-то мальчишеское напозло на него, беззаботное и очень редкое – редко на него накатывало такое легкое настроение. Все безоблачное, радующее душу, в людях выжигала война.

Выжигала она и в Мамкине и, как казалось ему, ничего не оставляла.
Но все-таки это было не так.

Витька Климович переместился в одну из новых землянок, специально вырытых для охраны аэродрома. В землянке было тепло, пахло хвоей и сосновой смолой, в гильзу со сплюсненной головкой был вставлен фитиль, скрученный из тряпки, внутрь гильзы налили машинное масло, добытое из подорванного немецкого автомобиля, и фитиль копил нещадно. Хотя запах оставлял вполне сносный: масло было добыто либо из травы, богатой семенами, либо из коровьего навоза и сдобрено какой-то берлинской или дортмундской химией...

Немцы научились заправлять моторы своих машин различным химическим и полухимическим дерьмом.

Над своим лежаком Витька прибил длинный и плоский обрезок хорошо высушенной доски, похожий на бритвенную полочку, какие в хатах мужики обычно крепили над умывальниками... На этот же лежак определился и другой Витька – детдомовец Вепринцев.

– Полкой тоже можешь пользоваться, – сказал Климович своему тезке.

– Да мне туда и нечего класть-то, – замялся Вепринцев, – если только пару сухарей, которые я заначил для самого себя? Так это опасно: выложишь, а их возьмут и съедят мыши... Либо перетащат в свои норы.

Климович засмеялся: насчет мышей детдомовец, конечно, присочинил немного, но нарисовал интересно, – видать, в обители своей сиротской дела с мышами имел постоянно...

– Ну, если не сухари, то пару золотых немецких монет.

– Ни разу не видел у фрицев золотых монет.

– Я тоже не видел, но они, говорят, есть.

– Ага. У генералов. Кстати, живого немецкого генерала я тоже никогда не видел.

– Темнота! – хмыкнул Климович пренебрежительно, смахнул с носа простудную каплю и неожиданно признался: – Живого фюрерского генерала я тоже не видел. В плен они к нам еще не попадали. Полковники были, целых два взяли, а вот генералов не было. – Климович растегнул телогрейку, потом снова застегнул. – Пойдем со мной, надо запас дров сделать. Принесем – пусть сохнут.

В этот момент в землянку заглянул разведчик Меняйлик, он был оставлен на аэродроме за старшего, – с серым лицом, перекрещенный пулеметными лентами, как матрос времен Гражданской войны, – очень деловой и голосистый. Несмотря на малый рост, голос у Меняйлика был, как у степного богатыря, передававшего по пространству весть о том, что идет враг, надо становиться в заслон, говорят, голоса таких богатырей были слышны за пятнадцать верст.

– Дровишки про запас – это мудро, Витька, – одобрил он решение Климовича, – дров никогда не бывает мало.

– Вот и я говорю своему тезке...

– Вы тезки? – удивился Меняйлик.

– А что, не похожи?

– Да вроде нет... Даю вам час на заготовку дров, еще найдите снега почище, натолкайте его в ведра, пусть тает. – Меняйлик ткнул пальцем в два подойника, стоявших у топчана. – и – на дежурство. Все понятно?

– Так точно, товарищ капитан. – Витька притиснул к виску испачканную в земле ладонь, – козырнул, выходит, как настоящий военнослужащий, но Меняйлик вместо благосклонного одобрения только шикнул:

– Какой я тебе капитан? Я в армии не был... Даже в Гражданскую, когда все воевали. – Меняйлик добавил что-то еще, невнятное, но слова слиплись, как конфеты-подушечки в бумажном кульке, ничего не разобрать. Голова его опустилась безвольно, уткнулась подбородком в грудь, Меняйлик всхрапнул сонно и в следующее мгновение очнулся.

В разведке он был незаменимым человеком, мало кто мог сравниться с ним в умении добывать нужные сведения... Пробормотав что-то еще, Меняйлик откинул в сторону толстую рогожу, заменявшую дверь и покинул землянку.

Ребята тоже не стали терять время, следом вымахнули наружу. В лесу было тихо – огромная объемная тишина окружила их, ну будто бы где-то что-то оборвалось и враз исчезли все звуки. От неожиданности Витька Вепринцев даже поскользнулся и сел задницей в снег.

– Ты чего? – удивился Климович. – Ноги не держат?

– Оглох чего-то. Уж больно тихо в лесу.

Климович озабоченно поправил на себе шапку, пошмыгал носом скорбно, словно бы почувствовал приближение весенней простуды: спеленает, извините, соплями по рукам и ногам, – чихай тогда.

– Тишина – это плохо, – знающе сказал он.

Слышал Климович от других людей, опытных, которые на фронте в окопах сточили себе зубы и заработали солдатские медали, что тишина всегда наступает перед тяжелым боем, либо перед атакой на неприступные немецкие доты, людей после таких атак остается лежать на земле видимо-невидимо, поэтому и на передовой народ не боится ни грохота, ни взрывов, ни стрельбы, а боится тишины. За нею... В общем, понятно, что следует за нею.

Но взрослые смерти не боялись, они к ней привыкли; совсем другое дело – дети. Они в смерть не верили. Все что угодно могло с ними случиться – длинный сон, забытье, переход в любое другое, – но живое, – состояние, – только не кончина.

Да и не мог Господь Бог оставить их без своего внимания и покровительства и отправить в небытие...

Климович подал приятелю руку:

– Вставай!

Тот ухватился за руку и, кряхтя устало, поднялся.

В лесу существовали места, где можно было уйти в снег с головой – нырнуть, как в омут, и очутиться на дне, и захлебнуться можно было, и задохнуться, и сознания лишиться, и вообще умереть от неожиданности, поэтому Климович предупредил Вепринцева:

– Ты это... Ежели что – кричи, не стесняйся.

Обошлось без приключений. Сухотья, годного в печушку, было мало, поэтому Климович попросил у Меняйлика пилу и топор, вдвоем с напарником они спилили три звонкие засохшие жердины, разделили их на небольшие чурки, способные вмящаться в печку, кое-какие чурки располовинили и сложили около землянок в ровную ладную поленницу.

Следующий поход за топливом будут делать другие – Климович это хлопотное занятие не любил.

– Ну как ты? – спросил он у напарника.

Тот оттопырил большой палец левой руки, двумя пальцами правой посыпал на откляченный сучок что-то невидимое, сухое, – посолил, наверное. Жест этот у молодых людей той поры был популярным.

В печку кинули полдюжину свежих чурбаков, Климович потянулся сладко, вскинул над собой руки, пошевелил плечами и повалился на топчан. Автомат поставил в изголовье, чтобы в случае опасности до него можно было дотянуться в одно мгновение.

Через несколько секунд он уже спал. Витька Вепринцев только подивился его способности стремительно переходить из состояния бега, запарки, напряженной работы и азартных вскриков «Ух!» и «Ах!» в состояние сладкого сна и едва слышного храпа.

От опытного народа он слышал, что бывалые солдаты могут спать даже в строю, на ходу: шагают размеренно, вместе со всеми, заученно, в ногу, на плече тяжелая винтовка висит, к нижней губе самокрутка прилипла, дымится, а хозяин спит.

Во сне слышит все, что происходит вокруг, может выполнять команды «Стой!» и «Шагом марш!», но ничего другого не может – сон не позволяет.

В это время наверху, у входа в землянку, послышались шаги, Климович мигом засек их, встрепенулся, и когда Меняйлик отодвинул в сторону рогожу, заменявшую дверь, Климович уже стоял на ногах, собранный, готовый к действиям, с автоматом, повешенным на грудь. Вепринцев смотрел на приятеля с восхищением: он так не умел... Но научится обязательно.

– За мной! – скомандовал Меняйлик простуженной сипотцой. – Пошли на пост!

На линии фронта установилось затишье, – и наши, и немцы готовились к дальнейшим боям, стрельбы стало меньше, а вот ракет жгли больше, особенно фрицы, складывалось такое впечатление, что без света они даже под ёлку по малой нужде не ходят... Не то ведь брянские и смоленские синицы и кедровки заклюют до крови.

Несколько рейсов Мамкин сделал спокойно – ну будто бы войны не было вовсе, вместо пальбы – тишь, да гладь, в лесах птички поют звонкие песни, они как никто, особенно остро ощущают приближение весны, сырой воздух на глазах расправляется с сугробами, съедает снег, дырявит завалы длинными сусличьими норами, над деревьями висит стойкий запах распускающихся почек. Предчувствие близкой весны рождало в висках тепло – Мамкин любил пору, когда пробуждается природа, зима уползает куда-то на север, в места, где ей удастся сохранить свое одеяние, не потечь ручьями, а на смену ей приходит совсем иное время, пахнущее теплом и подснежниками.

Иногда под крыльями кукурузника проскакивали обнажившиеся взгорбки, – весна была совсем близко.

Пара «мессеров», которая упрямо преследовала его в прошлый раз, куда-то подевалась, больше Мамкин ее не видел. Ну а что будет дальше... Об этом Мамкин старался не думать.

Вылеты он делал каждый день. Детей, остававшихся в партизанском отряде, было уже совсем немного.

С дальнего поста, который следил за передвижениями по шляху, пролежавшему сквозь лес, за ближайшими деревнями, за немцами и чащей, на аэродромный пост примчался запаренный лыжник, рукавицей вытер мокрое от пота лицо.

– Немцы идут... Целая колонна, – доложил он Меняйлику.

– Тьфу! – расстроено произнес тот. – Сегодня последнюю партию ребят отправляем... Не дали, гады, спокойно провести эвакуацию. Та-ак... Ну чего, раз петух закукарекал, будем встречать куриное стадо, – голос его поспокойнел, что делать дальше, Меняйлик знал хорошо.

Вызвал к себе двух Витьков – Вепринцева и своего, партизанского, – Климовича.

– Ребята, становитесь на лыжи и срочно к Сафьянову. Немцы идут.

– Да на лыжах сейчас не пройти – по пуду снега налипнет на каждую лыжину.

– Вот он-то прошел. – Меняйлик показал на связного, от которого, как от прохудившегося паровозного котла, поднималось белесое влажное облако. – И ты пройдешь.

– Я один сбегаю на базу, – неожиданно предложил Вепринцев. Говорил он немного и производил впечатление серьезного паренька, Меняйлик это уже отметил. – Я хорошо бегаю на лыжах.

Меняйлик на мгновение задумался: если детдомовец сумеет добежать до базы один – будет очень хорошо, Климович понадобится здесь, очень даже понадобится: ведь каждая пара рук и каждая пара глаз через полчаса будут весить тут больше, чем золото, поэтому разрешающе махнул рукой:

– Давай! – повернулся к Климовичу, который был доволен тем, что задание отменили, не надо кувыркаться в тяжелом сыром снегу и выплевывать из себя дыхание чуть ли не с кусками легких, стараясь побыстрее добраться до отряда.

Словно бы чувствуя, что немцы вот-вот нагрянут на лесной аэродром, захотят понять, что тут происходит, почему сюда каждый день прилетает самолет, считавшийся у фрицев связным (а вдруг русские готовят какой-нибудь сюрприз, а?), Меняйлик заминировал подходы к лесному аэродрому, хотя мин стояло все-таки мало, а на накатанной, со вспухшим ледяным следом дороге зарыл неразорвавшуюся немецкую бомбу, искусно замаскировал ее.

Это было хорошо, поскольку всякую пушку немцы могли подтащить только по этому, с трудом проложенному среди плотно стоявших деревьев, летом совсем неприметному пути.

Если фрицы пойдут по нему, то Меняйлик подорвет их, – под снегом был проложен провод, который оставалось лишь замкнуть, – маленький шустрый Меняйлик был докой не только по части разведки, но и взрывных работ тоже. Ему до всего было дело.

Вепринцев достал где-то кусок трофейного парафина, – валялся без дела, был взят у немцев из саней, быстрехонько, оглядываясь – вдруг немцы появятся на взлетной полосе? – натер лыжи, их рабочую, скользкую часть, и шустро покатил в сторону партизанской базы. Меняйлик проводил его одобрительным взглядом.

– Вот так, Витек, поступают настоящие пионеры, – сказал он Климовичу.

– Я уже не пионер, а комсомолец, – пробурчал тот в ответ, замечание командира задело его, – недавно приняли.

Где-то вдали, невидимые за деревьями, затрещали сороки. Меняйлик прислушался к их надоедливому треску, проговорил голосом, в который натекли жесткие нотки:

– Немцы скоро будут здесь. По местам!

Витька Вепринцев в родном детдоме дважды становился чемпионом, в разные годы – на дистанции в три километра, и один раз во взрослой пятикилометровой гонке, и случалось, выкладывался на снегу до предела, но никогда он не выкладывался до полного опустошения, основательно, как в этот раз.

Он понимал, что чем раньше доберется до Сафьяныча, тем целее будет аэродромная охрана, ведь неведомо еще, что именно, какое оружие волокут с собою немцы, неизвестно также, сколько их? Ведь они такие умелые и «вумные», что могут накатывать волнами, валами, тактику применяют разную.

Когда до базы оставалось всего-ничего, километра полтора, Витька Вепринцев влетел правой лыжей под изогнувшийся осминожьим щупальцем березовый корень, присыпанный снежной крошкой и оттого совсем незаметный. Заметил Витька щупальце, когда уже носом ткнулся в снег.

Конец лыжи хряпнул мягко, будто гнилой и, закувыркавшись в воздухе пропеллером, отлетел в сторону.

– Тьфу! – отплюнулся Витька снегом. Те лыжи, на которых он гонял в детдоме, были фабричные, наши, сделанные надежно, их можно было даже на самолетные лапы привинчивать, а эти лыжи – трофейные, слишком изящные, для парковых прогулок, – не для леса.

Хорошо, хоть конец отлетел не у крепления, не у ноги, а в начале лыжи, на изгибе.

Надо было двигаться дальше. Скорость будет, конечно, не та, но на снегу лыжи Витьку удержат, и это главное: он не провалится...

Сипя, давясь дыханием, Витька Вепринцев поспешил дальше.

Сорочий грай делался все сильнее и ближе, птицы не отставали от колонны фрицев, провозжали ее от одного лесного изгиба до другого, предупреждали все живое – берегись!

Меняйлик сидел около пулемета, прикрученного к тележному колесу, – пулемет мог стрелять не только по воздушным целям, – все зависело от того, как его прикрутить, и Меняйлик знал, как это лучше сделать.

Отогнув рукав, он посмотрел на часы – отечественные, широкие, с аккуратной рисованной маркой ЗИМ, что означало «Завод имени Молотова», – подоспеет подмога или нет? Или бой придется начинать без поддержки? Хватит их ненадолго. Смерти Меняйлик, как и большинство тех, кто воевал в партизанском отряде, не боялся, – просто не думал о ней, – но умирать ему не хотелось.

Он затаился сырым, наполненным запахом почек и корней в воздухе, неожиданно проговорил с расслабленной улыбкой:

– Весной пахнет!

А ведь действительно, такой сочный, влажный, наполненный растительными запахами воздух бывает только в апреле, – в начале, в середине... Меняйлик не сдержал улыбки, в висках от того, что на улице весна, даже звон возник, – скоро, совсем скоро от бездонных снегов этих, утопивших лес в своей плоти, и следа не останется, на месте сугробов будут расти фиалки, ландыши, пушистые одуванчики, чья жизнь коротка, как скок воробья, мать-и-мачеха и обязательно – розовый, в легкую фиолетовость кипрей, который будет цвести до самой поздней осени, до первых заморозков.

Скорбный кипрей Меняйлик любил – за способность прикрывать всякие увечья, нанесенные земле, – спаленную черноту, оставшуюся после огня, ямы, выкопанные, чтобы схранить отбросы бытия, завалы, ломины, буреломы, образованные сбитыми с ног деревьями, оползни, старые волчьи логова... Очень нужный это цветок. Да и лучший партизанский чай, за неимением заварки, получается из сушеного кипрея.

По-прежнему было тихо, если не считать трескотни сорок, похожей на многослойный, какой-то картавый барабанный бой. Чтобы чем-то занять время и снять напряжение, Меняйлик пересчитал коробки с патронами, горкой сложенные у ног.

Укрепление его было сложено из бревен и прикопано землей, в этом, очень приличном капонире, который простая пуля не пробьет, взять можно только свинцом укрупненного калибра, да еще противотанковым снарядом, всадив его в лоб, раньше стояла их танковая пушка, оберегала аэродром, но сейчас пушка понадобилась соседям, проводившим давно задуманную операцию, и Сафьяныч отправил ее вместе с запасом снарядов к ним.

Сорочий стрекот неожиданно смолк, и на противоположной – дальней стороне аэродрома, там, где ни мин не было, ни зарытых трофейных бомб, появилось несколько серых мешковатых фигур. Немцы! Фигуры застыли, перекрыв шеренгой просеку.

Несколько минут немцы осматривались. Их насторожил не столько вид аэродрома, сколько тишина, внезапно наступившая после фанерного сорочьего треска; болтливые птицы, проводив иноземцев на место боя, неожиданно исчезли, словно бы посчитали свою задачу выполненной...

До Меняйлика донесся слабый, съеденный расстоянием окрик-команда офицера, подчиняясь приказу, немцы стали растекаться по пространству, затем неровной шеренгой двинулись вперед, словно бы хотели причесать гребенкой аэродром.

– Ну-ну. – Меняйлик снова поглядел на свой ЗИМ, похожий на блюдо: подмога не подоспела и вряд ли в ближайшие полчаса подоспеет, воевать придется одним. – Ну-ну, – спокойно повторил Меняйлик, поправил грузную патронную коробку, венчавшую пулемет.

Низко над деревьями пролетела быстрая одинокая птица, выкрикнула что-то скрипуче, громко, словно бы обругала пришельцев. Меняйлик проводил ее взглядом, ощутил внутри что-то благодарное: на своей земле партизанам даже птицы будут помогать.

Немцы шли, не пригибаясь, они словно бы не боялись партизан, либо были новичками. А новички, как известно, ничего не боятся, поскольку еще не знают, чего можно и нужно бояться, а чего – нет.

Меняйлик ждал. Он должен был первым открыть стрельбу, его очередь из пулемета станет командой для остальных: важно, чтобы первые выстрелы прозвучали дружно, залпом. Обычно первый вал огня, хотя его все ожидают, и свои и чужие, ловят зубами собственные сердца, замирают, словно в обмороке, – бывает неожиданным и, по мнению командиров, самым результативным, поэтому очень важно, чтобы первые выстрелы слились в один общий залп.

– Ну-ну, – прежним спокойным и, пожалуй, почти равнодушным тоном вновь проговорил Меняйлик, обер ладонью обветренное лицо, – давайте, судари, давайте... Ближе, ближе...

Редкий человек в ту пору мог назвать фрицев сударями, а Меняйлик назвал.

Перед тем как нажать на гашетку трофейного пулемета, он приподнялся в своем гнезде и выкрикнул громко, – и команду эту услышали не только защитники аэродрома, но и немцы, хотя в сыром тяжелом воздухе глохли все звуки:

– Огонь!

Часть немцев уложили, часть сама залегла в снегу, стараясь поглубже зарыться в него, еще часть, которая шла вторым валом, прикрывая вал первый, шустро развернулась и побежала назад, в лес, под прикрытие деревьев. Меняйлик короткими, в четыре-пять выстрелов очередями прошелся по темным точкам, выпирающим из снега: залегшие фрицы хоть и спрятали свои головы в снег, считая, что так будет безопаснее, но безопаснее так не было, – особенно учитывая, что в руках Меняйлика был большой убойный пулемет.

Над аэродромом разнесся резкий крик подстреленного гитлеровца – пуля попала ему в кормовую часть, развернула ее, как вареный капустный кочан... Поделом – не надо ходить без приглашения в гости, тем более – с такой большой задницей, откормленной на сардельках и пиве, и вообще – лучше сидеть дома и ни в коем разе не пересекать государственную границу СССР... Нечего делать в белорусских лесах – вон отсюда!

В железной патронной коробке что-то звякнуло, и пулемет умолк – Меняйлик расстрелял коробку до конца. Больше такого он не допустит – патроны надо беречь. Слишком дорого они достаются партизанам. Меняйлик отщелкнул коробку, заменил на новую и, удовлетворенно хлопнув ладонью по замку, приподнял голову над бруствером.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.